

Дневникъ Зинаиды Николаевны Гиппиусъ.

Отъ редакціи.

Печатаемый „Дневникъ“ З. Н. Гиппиусъ мы рассматриваемъ не просто какъ литературное произведеніе, а какъ „человѣческій документъ“ крупнаго историческаго значенія. Со многими мнѣніями З. Н. Гиппиусъ мы рѣшительно несогласны, но мнѣнія автора, съ одной стороны, его наблюденія и переживанія, съ другой стороны, неотдѣлимы въ этомъ „Дневникѣ“. Мы не принимаемъ на себя отвѣтственности за эти мнѣнія, но мы, въ то же время, не считаемъ возможнымъ осуществлять какую либо цензуру надъ предлагаемымъ „Дневникомъ“, печатаемымъ нами именно какъ замѣчательный документъ переживаемой эпохи.

Часть I. Исторія моего Дневника.

„Черная книжка“ — лишь сотая часть моего „Петербургскаго Дневника“, моей записи, которую я вела почти непрерывно, со дня объявленія войны. Я скажу далѣе, какая судьба постигла двѣ толстыя книги этой записи, доведенной до февраля—марта 1919 года. Сейчасъ отмѣчаю лишь то обстоятельство, что ихъ у меня нѣтъ. И я должна сказать о нихъ нѣсколько словъ прежде, чѣмъ дать текстъ записи послѣдней, касающейся второй половины 1919 года. Правда, этотъ послѣдній дневникъ написанъ нѣсколько иначе, отрывочнѣе, короткими отмѣтками, иногда безъ чиселъ. Но все таки онъ — продолженіе, и безъ фактиче

скихъ ссылокъ на первыя тетради онъ будетъ непонятенъ даже внѣшне.

Наша жизнь, наша среда, моя и Мережковскаго, и наше положеніе, въ общемъ, были благопріятны для веденія подобныхъ записей. Коренные жители Петербурга, мы принадлежали къ тому широкому кругу русской „интеллигенціи“, которую, справедливо или нѣтъ, называли „совѣстью и разумомъ“ Россіи. Она же — и это ужъ конечно справедливо — была единственнымъ „словомъ“ и „голосомъ“ Россіи, нѣмой притайно-молчащей — самодержавной. Послѣ неудавшейся революціи 1905 года — неудавшейся потому, что самодержавіе осталось, — интеллигенція если не усилилась, то расширилась. Раздираемая внутренними несогласіями, она, однако, была объединена общимъ политическимъ, очень важнымъ отрицаніемъ: отрицаніемъ самодержавнаго режима. Русская интеллигенція, — это классъ или кругъ, или слой (всѣ слова не точны), котораго не знаетъ буржуазно-демократическая Европа, какъ не знала она самодержавія. Слой, по сравненію со всей толщей громадной Россіи, очень тонкій; но лишь въ немъ совершалась кое-какая культурная работа. И онъ сыгралъ свою, очень серьезную историческую роль. Я не буду ее опредѣлять, я не сужу сейчасъ русскую интеллигенцію, я просто о ней рассказываю.

Раздѣленія на профессиональные круги въ Петербургѣ почти не было. Дѣятели самыхъ различныхъ поприщъ, — ученые, адвокаты, врачи, литераторы, поэты, — всѣ они такъ или иначе сказывались причастными политикѣ. Политика, — условія самодержавнаго режима, — была нашимъ первымъ жизненнымъ интересомъ, ибо каждый русскій культурный человекъ, съ какой бы стороны онъ ни подходилъ къ жизни, — и хотѣлъ того или не хотѣлъ, — непременно сталкивался съ политическимъ вопросомъ.

Когда послѣ 1905 года появился призракъ общегосударственной работы, — создалась Дума, — и на-

родились такъ называемые „политическіе дѣятели“, — эта специализація ничего, въ сущности, не измѣнила. Только усилилась партійность; но самый видный „политическій дѣятель“ оставался тѣмъ-же интеллигентомъ, въ томъ же кругу, а колесо его чисто-государственной, политической дѣятельности вертѣлось въ пустотѣ. Прибавился только нѣкоторый самообманъ, — а онъ былъ даже вреденъ.

Не всякій интеллигентъ, конечно, принадлежалъ фактически къ той или другой партіи; но все въ нихъ разбирались, и почти каждый сочувствовалъ какой нибудь одной болѣе, чѣмъ остальнымъ. Между партійная борьба не прекращалась; но такъ какъ при данныхъ условіяхъ она принимала довольно отвлеченныя формы, и такъ какъ все партіи сходились на ненависти къ самодержавію, то русскіе круги интеллигенціи, даже не только центральные, были въ постоянномъ соприкосновеніи.

Мы, т. е. я, Мережковскій и Философовъ, а также нѣкоторые друзья наши, склонялись, какъ писатели, къ идейнымъ сторонамъ общественнаго вопроса. Не входя ни въ одну изъ политическихъ партій, мы, однако, имѣли касаніе почти ко всемъ. Въ той, которой мы наиболѣе сочувствовали, у насъ было много давнихъ друзей. Задолго до войны мы сблизились съ нѣкоторыми эмигрантами (между прочимъ, съ Савиновымъ), съ которыми мы поддерживали постоянныя сношенія. Это была партія социалистовъ — революціонеровъ. Несмотря на плохо разработанную идеологию, партія эта казалась намъ наиболѣе органической, наиболѣе отвѣчающей русскимъ условіямъ. За соц.-революціонерами, какъ народниками, стояло уже свое историческое прошлое. Что касается партіи социаль-демократической, — партіи, сравнительно новой въ Россіи, лишь послѣ 1905 года оформившейся у насъ по западнымъ образцамъ и уже расколотой на большевиковъ и меньшевиковъ, то самая основа ея — экономическій матеріализмъ, — была намъ, и нѣкто-

рой части русской интеллигенціи, особенно чужда (какъ и самому русскому народу, — казалось намъ). Всѣ десять лѣтъ мы вели съ ней послѣдовательную, очень внутреннюю, идейную борьбу.

Призракъ конституціи, Дума, послужила созданию партіи „умѣренныхъ“, либеральныхъ, стремящихся къ государственной работѣ въ легальныхъ рамкахъ. Какъ уже было упомянуто, эта работа въ конечномъ счетѣ тоже оказывалась прозрачной. Партія конституціонно-демократическая (кадетская), единственно значительная либеральная русская партія, въ сущности не имѣла подъ собой никакой почвы. Она держалась европейскихъ методовъ въ условіяхъ, ничего общаго съ европейскими не имѣющихъ. Но, конечно, если въ области политики работа либераловъ и была бесплодна, то въ области культуры они кое-что сдѣлали — или дѣлали, по крайней мѣрѣ. Этимъ объясняется то, что либералы, въ предвоенные годы, постепенно завоевывали себѣ все больше и больше сочувствующихъ среди интеллигенціи.

Мы близко соприкасались съ либералами, благодаря тому, что Философовъ, не входя въ партію кадетовъ, работалъ въ партійной газетѣ „Рѣчь“ и позиція его имѣла много общаго съ позиціей либеральной.

Такимъ образомъ, вся скудная политическая жизнь Россіи, сконцентрированная въ русской интеллигенціи, въ нелегальныхъ и легальныхъ партіяхъ, около вырождающагося правительства и около прозрачнаго парламента, — около Думы, — вся эта жизнь лежала передъ нашими глазами. Не надо русскому писателю быть профессиональнымъ политикомъ, чтобы понимать, что происходитъ. Довольно имѣть открытые глаза. У насъ были только открытые глаза. И мой дневникъ естественно сдѣлался записью общественно-политической.

Здѣсь кстати сказать, что даже виѣшнее, географическое, наше положеніе оказалось очень благоприятнымъ для моей записи. Важенъ Петербургъ, какъ

общій центръ событій. Но въ самомъ Петербургѣ еще былъ частный центръ: революція съ самаго начала сосредоточилась *около Думы*, т. е. около Таврическаго Дворца. Прямая улицы, ведущія къ нему, было во дни февраля и марта 17 года словно артеріями, по которымъ бѣжала живая кровь къ сердцу—къ широкому Дворцу екатерининскихъ временъ. Онъ задумчиво и гордо круглилъ свой куполь за сѣтью обнаженныхъ березъ стариннаго парка.

Мы слѣдили за событіями по минутамъ,—мы жили у самой рѣшетки парка въ бельэтажѣ послѣдняго дома одной изъ улицъ, ведущихъ ко дворцу. Всѣ шесть лѣтъ,—шесть вѣковъ,—я смотрѣла изъ окна, или съ балкона, то налѣво, какъ закатывается солнце въ туманномъ далекѣ прямой улицы, то направо, какъ опускаются и обнажаются деревья Таврическаго сада. Я слѣдила, какъ умиралъ старый дворецъ, на краткое время воскресшій для новой жизни,—я видѣла, какъ умиралъ городъ... Да, цѣлый городъ, Петербургъ, созданный Петромъ и воссѣтый Пушкинымъ, милый, строгій и страшный городъ—онъ умиралъ... Последняя запись моя—это уже скорбная запись агоніи.

Но я забѣгаю впередъ. Я лишь хочу сказать, что и это внѣшнее обстоятельство, случайное наше положеніе вблизи центра событій, благопріятствовало ясности моихъ записей. Мнѣ кажется, если бы я даже не была писателемъ, если бъ я даже вовсе не умѣла писать, но видѣла бы, что видѣла,—я бы научилась писать и не могла бы не записывать...

Война всколыхнула петербургскую интеллигенцію, обострила политическіе интересы, обостривъ въ то-же время борьбу партій внутри. Либералы рѣзко стали за войну,—и тѣмъ самымъ въ какой-то мѣрѣ за поддержку самодержавнаго правительства. Знаменитый „думскій блокъ“ былъ попыткой объединенія лѣвыхъ либераловъ (ка-де) съ болѣе правыми—ради войны.

Другая часть интеллигенціи была противъ войны,—болѣе или менѣе; тутъ народилось безчисленное

множество отгѣнковъ. Для насъ, не чистыхъ политиковъ, людей не ослѣпленныхъ сложностью внутреннихъ нитей, для насъ, не потерявшихъ еще человѣческаго здраваго смысла,—одно было ясно: война для России, при ея современномъ политическомъ положеніи, не можетъ окончиться естественно; раньше конца ея—будетъ революція. Это предчувствіе, — болѣе, это знаніе, раздѣляли съ нами многіе.

... Будетъ, да, несомнѣнно.—писала я въ 16-мъ году.—Но что будетъ? Она, революція настоящая, важная, вѣрная, или безликое стихійное Оно, крахъ.—что будетъ? Если бы всѣ мы съ ясностью видѣли, что грозивыя событія близко, при дверяхъ, если бы всѣ мы одинаково понимали, были готовы встрѣтить ихъ... можетъ быть они стали бы не крахомъ, а спасеніемъ нашимъ...“ Но грозы этой не видали „реальные политики“, тѣ именно, которые во время войны одни что-то дѣлали въ Думѣ, какъ-то все таки направляли курсъ—либералы. Во всякомъ случаѣ они стояли первыми за правительствомъ; зданіе трещить, казалось намъ,—и не должны ли они первые, своими руками, помочь разрушенію того, что обречено разрушиться, чтобы сохранить нужное, чтобы не обвалилось все зданіе и не похоронило насъ подъ обломками?

Но либералы все правѣли, ожесточая крайнія лѣвые партіи (у нихъ была кое-какая связь съ низами, хотя слабая, кажется), ожесточая даже и не самыя крайнія. Я помню, какъ однажды Керенскій, говоря со мной по телефону послѣ какой-то очень грубой ошибки думскихъ лидеровъ, на мой горестный вопросъ: „что-же теперь будетъ?“ отвѣчалъ: „будетъ то, что начинается съ а...“, т. е. анархія, т. е. крахъ „Оно“.

Керенскаго мы знали давно. Онъ бывалъ у насъ и до войны. Во время войны мы, кромѣ того, встрѣчались съ нимъ и въ безчисленныхъ лѣвыхъ кружкахъ интеллигенціи. Мы любили Керенскаго. Въ немъ было

что-то живое, порывистое и—дѣтское. Несмотря на свою истерическую нервность, онъ тогда казался намъ дальновиднѣе и трезвѣе многихъ.

Было-бы и трудно, и бесполезно, и даже скучно рассказывать здѣсь по памяти отѣхъ страницъ моего дневника, которыхъ нѣтъ передо мною. Историческія событія того времени въ общихъ чертахъ — извѣстны; мелкихъ подробностей не припомнишь; а центръ тяжести дневника, самый уклонъ его — такого рода, что вздумай я говорить о немъ кратко — ничего бы не вышло. Дѣло въ томъ, что меня, какъ писателя — беллетриста, по преимуществу занимали не одни историческія событія, свидѣтелемъ которыхъ я была; меня занимали главнымъ образомъ *люди въ нихъ*. Занималъ каждый человекъ, его образъ, его личность, его роль въ этой громадной трагедіи, его сила, его паденія, — его путь, его жизнь. Да, исторію дѣлаютъ не люди . . . но *и* люди тоже, въ какой то мѣрѣ. Если не видѣть и не присматриваться къ отдѣльнымъ точкамъ въ стихійномъ потокѣ революціи, можно перестать все понимать. И чѣмъ меньше этихъ точекъ, отдѣльныхъ личностей, — тѣмъ безсмысленнѣе, страшнѣе и *скучнѣе* становится историческое движеніе. Вотъ почему запись моя, продолжаясь, все болѣе измѣнялась, пока не превратилась, къ концу 19 года, въ отрывочныя, внѣшнія, чисто фактическія замѣтки. Съ воцареніемъ большевиковъ — сталъ исчезать *человѣкъ*, какъ единица. Не только исчезъ онъ съ моего горизонта, изъ моихъ глазъ; онъ вообще началъ уничтожаться, принципиально и фактически. Мало по малу исчезла сама революція, ибо исчезла всякая борьба. Гдѣ нѣтъ никакой борьбы, какая революція?

Что осталось — ушло въ подполье. Но въ такое глубокое, такое темное подполье, что уже ни звука оттуда не доносилось на поверхность. На петербургскихъ улицахъ, въ петербургскихъ домахъ въ послѣднее время царяла пугающая тишина, молчаніе ра-

бовъ, доведенныхъ въ рабствѣ разъединенности до совершенства.

Самодержавіе; война; первые дни свободы, первые дни свѣтлой, какъ влюбленность, февральской революціи; затѣмъ дни первыхъ опасеній и сомнѣній... Керенскій въ своемъ взлетѣ. . . Ленинъ, присланный изъ Германіи, встрѣчаемый прожекторами. . . Июльское возстаніе . . . побѣда надъ нимъ, страшная, какъ пораженіе. . . Опять Керенскій и люди, которые его окружаютъ. Наконецъ, знаменитое К—С—К, т. е. Керенскій, Савинковъ и Корниловъ, вся эта потрясающая драма, которую довелось намъ наблюдать съ внутренней стороны. „Корниловскій бунтъ“, записали торопливые историки, простодушно повѣривъ, что дѣйствительно *былъ* какой-то „корниловскій бунтъ“... И наконецъ — послѣдній актъ, молніи выстрѣловъ на черномъ октябрьскомъ небѣ. . . Мы ихъ видѣли съ нашего балкона, слышали каждый. . . Это обстрѣлъ Зимняго Дворца, и мы знали, что стрѣляютъ въ людей, мужественно и беспомощно запершихся тамъ, покинутыхъ всѣми, — даже „главой“ своимъ — Керенскимъ.

Временное правительство — да вѣдь это все тѣ же *мы*, тѣ же интеллигенты, люди, изъ которыхъ каждый имѣлъ для насъ свое *лицо* . . . (Я уже не говорю, что были тамъ и люди, съ нами лично связанные). Вотъ движеніе, вотъ борьба, вотъ исторія.

А потомъ наступилъ конецъ. Послѣдняя точка борьбы — Учредительное Собраніе. Черные зимніе вечера; наши друзья р. социалисты, недавніе господа, — теперь приходящіе къ намъ тайкомъ, съ поднятыми воротниками, заgrimированные. . . И послѣдній вечеръ — послѣдняя ночь, единственная ночь жизни Учредительнаго Собранія, когда я подымала портьеры и вглядывалась въ бѣлую мглу сада, стараясь различить круглый куполь Дворца. . . „Они тамъ. . . Они все еще сидятъ тамъ. . . Что — тамъ?“

Лишь утромъ большевики рѣшили, что довольно

этой комедіи. Матрость Желѣзняковъ (онъ знаменитъ тѣмъ, что на митингахъ требовалъ непременно „милліона“ головъ буржуазіи) объявилъ, что утомился и закрылъ Собраніе.

Сколько ни было дальше выстрѣловъ, убійствъ, смертей — все равно. Дальше — паденіе, то медленное, то быстрое, агонія революціи и ея смерть.

Жизнь все сѣживалась, сѣживалась, все стыла, каменѣла, — даже самое время точно каменѣло. Все короче становились мои записи. Что писать? Нѣтъ людей, нѣтъ событій. Новый „бытъ“, страшный, небывалый, нечеловѣческій, — но и онъ едва нарождался...

И все таки я пыталась иногда раскрывать мои тетради, пока, къ веснѣ 19 года, это стало фактически невозможно. О существованіи тетрадей поползъ слухъ. О нихъ зналъ Горькій. Я рисковала не только собой и нашимъ домомъ: слишкомъ много *лицъ* было въ моихъ тетрадяхъ. Нѣкоторыя изъ нихъ еще не погибли и не всѣ были внѣ предѣловъ досягаемости. . . А такъ какъ при большевицкомъ режимѣ нѣтъ такого интимнаго уголка, нѣтъ такой частной квартиры, куда-бы „власти“ въ любое время не могли ворваться (это лежитъ въ самомъ принципѣ этихъ властей) — то мнѣ оставалось одно: зарыть тетради въ землю. Я это и сдѣлала. Добрые люди взяли ихъ и закопали гдѣ-то за городомъ, гдѣ — я не знаю точно.

Такова исторія моей книги, моего „Петербургскаго Дневника“ 1914—1919 годовъ.

Проходили—проползали мѣсяцы. Уже давно была у насъ не жизнь, а во-истину „житіе“. Маленькая черная старая книжка валялась пустая на моемъ письменномъ столѣ. И я полуслучайно—полуневольно начала дѣлать въ ней какія то отмѣтки. Осторожныя, невинныя, безъ именъ, иногда безъ чиселъ. Вѣдь даже когда не думаешь — все время чувствуешь, — тамъ, въ Совдепіи, — что кто-то стоитъ у тебя за спиной и читаетъ черезъ плечо написанное.

А между тѣмъ все таки писать было надо. Не

хотѣлось, не умѣлось, но чувствовалось, что хоть два—три слова, двѣ—три подробности—надо закрѣпить *сейчасъ*. И дѣйствительно: многое теперь, по воспоминанію, я просто не могла бы написать: я ужъ сама въ это почти не вѣрю, оно мнѣ кажется слишкомъ фантастичнымъ. Если бъ у меня не было этихъ листковъ, черныхъ по бѣлому, если бъ я въ послѣднюю минуту не рѣшилась на вполнѣ безумный поступокъ — схватить ихъ и спрятать въ чемоданъ, съ которымъ мы бѣжали — мнѣ все казалось бы, что я преувеличиваю, что я лгу.

Но вотъ онѣ, эти строки. Я помню, какъ я ихъ писала. Я помню, какъ я, изъ осторожности, преуменьшала, скользила по фактамъ, — а не преувеличивала. Я вспоминаю недописанныя слова, вижу нарочныя буквы. Для меня эти скользящія строки — налины кровью и живутъ, — ибо я знаю *воздухъ*, въ которомъ онѣ рождались. Увы, какъ мало онѣ значутъ для тѣхъ, кто никогда не дышалъ этимъ густымъ совсѣмъ особеннымъ, по тяжести, воздухомъ!

Я коснусь общей внѣшней обстановки, чтобы пояснить нѣкоторыя мѣста, совсѣмъ непонятныя.

Къ веснѣ 19 года общее положеніе было такое въ силу безчисленныхъ (иногда противорѣчивыхъ и спутанныхъ, но всегда угрожающихъ) декретовъ, приблизительно все было „націонализировано“, — „большевизировано“. Все считалось принадлежащимъ „государству“ (большевикамъ). Не говоря о еще оставшихся фабрикахъ и заводахъ, — но и всѣ лавки, всѣ магазины, всѣ предприятия и учрежденія, всѣ дома, всѣ недвижности, почти всѣ движимости (крупныя) — все это по идеѣ переходило въ вѣдѣніе и собственность государства. Декреты и направлялись въ сторону воплощенія этой идеи. Нельзя сказать, чтобы воплощеніе шло стройно. Въ концѣ концовъ это просто было желаніе прибрать все къ своимъ рукамъ. И большею частью кончалось разрушеніемъ, уничтоженіемъ того, что объявлялось

„национализированнымъ“. Захваченные магазины, предприятия и заводы закрывались; захватъ частной торговли повелъ къ прекращенію вообще всякой торговли, къ закрытію *всѣхъ* магазиновъ и къ страшному развитію торговли нелегальной, спекулятивной, воровской. На нее большевикамъ поневолѣ приходилось смотрѣть сквозь пальцы, и лишь періодически громить, ловить и хватать покупающихъ — продающихъ на улицахъ, въ частныхъ помѣщеніяхъ, на рынкахъ; рынки, единственный источникъ питанія рѣшительно для *всѣхъ* (даже для большинства коммунистовъ) — тоже были нелегальщиной. Террористическіе налеты на рынки, со стрѣльбой и смертоубійствомъ, кончались просто разграбленіемъ продовольствія въ пользу отряда, который совершалъ налетъ. Продовольствія прежде всего, но такъ какъ нѣтъ вещи, которой нельзя встрѣтить на рынкѣ, — то забиралось и остальное, — старые онучи, ручки отъ дверей, драные штаны, бронзовые подсвѣчники, древнее бархатное евангеліе, выкраденное изъ какого нибудь книгохранилища, дамскія рубашки, обивка мебели. . . Мебель тоже считалась собственностью государства, а такъ какъ подъ полой дивана тащить нельзя, то люди сдирали обивку и норовили сбыть ее хоть за полфунта соломеннаго хлѣба. . . Надо было видѣть, какъ съ визгами, воплями и стонами кидались торгующіе вразсыпную, при слухѣ, что близки красноармейцы! Всякій хваталъ свою рухлядь, а часто, въ суматохѣ, и чужую; бѣжали, толкались, лѣзли въ пустые подвалы, въ разбитыя окна. . . Туда же спѣшили и покупатели, — вѣдь покупать въ Совдепѣ не менѣе преступно, чѣмъ продавать, — хотя самъ Зиновьевъ отлично знаетъ, что безъ этого преступленія Совдепѣ кончилась бы, за немѣнѣемъ подданныхъ, дней черезъ 10.

Мы называли нашу „республику“ не Р. С. Ф. С. Р., а между прочимъ „Р. Т. П.“ — республикой торгово—продажной. Такъ оно фактически и было.

Надо отмѣтить главную характерную черту въ

Совдепіи: есть фактъ, надъ каждымъ фактомъ есть—вывѣска, и каждая вывѣска—абсолютная ложь по отношенію къ факту. О томъ, что скрывается подъ вывѣской „Совѣтовъ“ („выборнаго начала“), упоминается въ моемъ дневникѣ.

Здѣсь скажу о петербургскихъ домахъ. Эги полупустыя, грязныя руины—собственность государства,—управляются такъ называемыми „комитетами домо-вой бѣдности“. Принципъ ясенъ по вывѣскѣ. На дѣлѣ же это вотъ что: власти въ лицѣ Чрезвычайки совершенно открыто слѣдятъ за комитетомъ cadaго дома (была даже „недѣля чистки комитетовъ“). По возможности комитетчиками назначаются „свои“ люди, которые, при постоянномъ контактѣ съ районнымъ Совдепомъ (мѣстнымъ полицейскимъ участкомъ) могли бы дѣлать и нужные доносы. Требуется, чтобы въ комитетахъ не было „буржуевъ“, но такъ какъ дѣйствительная „бѣдность“ теперь именно „буржуи“, то фактически комитеты состоятъ изъ лицъ, находящихся на большевицкой полицейской службѣ, или спекулянтовъ, т. е. менѣе всего изъ „бѣдности“. Нейтральные жильцы дома, рабочіе или просто обывательскіе низы обыкновенно въ комитетъ не попадаютъ, да и не стремятся туда.

Бызають счастливыя исключенія. Напримѣръ, въ домѣ одного писателя—„очень хорошій комитетъ: младшій дворникъ, предсѣдатель, такой добрый. Онъ насъ не притѣсняетъ, онъ понимаетъ, что все это рано или поздно кончится...“ А вотъ другой, очень извѣстный мнѣ домъ: вѣчные доносы, вѣчное врываніе въ квартиры, вѣчное преслѣдованіе „буржуазіи“—такой, напримѣръ, какъ три барышни, жившія вмѣстѣ: двѣ учительницы въ большевицкихъ (другихъ нѣтъ) школахъ и третья—врачъ въ большевицкой (другихъ нѣтъ) больницѣ. Эту третью даже нѣсколько разъ арестовывали; то когда вообще всѣхъ врачей арестовывали, то по доносу комитетчика, который рѣшилъ, что у нея какая то подозрительная фамилія.

Нашъ домъ около Таврическаго Дворца былъ самымъ счастливымъ исключеніемъ изъ общаго правила. И не случайно, а благодаря незабвенному другу нашему, удивительнѣйшему человѣку, I. I.

На немъ я должна остановиться. Онъ постоянно упоминается въ моемъ Дневникѣ. Онъ,—и жена его,—люди, съ которыми мы дѣйствительно вмѣстѣ, почти не разлучаясь физически и душевно, пережили годы петербургской трагедіи. Слишкомъ много нужно бы говорить о немъ, я не буду здѣсь вспоминать страницы моего зарытаго дневника. Скажу лишь кратко, что I. I.—рѣдкое соединеніе очень серьезнаго ученаго, извѣстнаго своими творческими работами въ Европѣ,—и дѣятельнаго человѣка жизни, отзывчиваго и гуманнаго. Типичныя черты русскаго интеллигента,—крайняя прямота, стойкость, непримиримость,—выражались у него не словесно, а именно дѣйственно. Онъ жилъ по сосѣдству съ нами, но во время войны мы не были знакомы. Сочувствуя со дней юности паріа. намъ далекой — социаль-демократической,—онъ сблизившись преимущественно съ людьми, съ которыми мы уже были въ идейной борьбѣ. Правда, и у насъ имѣлась нѣкоторая связь черезъ Горькаго: Горькаго мы знали давно, лѣтъ двадцать; онъ даже бывалъ у насъ во время войны. Но мы не сходились никогда съ Горькимъ, странная чуждость раздѣляла насъ. Даже его несомнѣнный литературный талантъ, сильный и неровный, которымъ мы порою восхищались, не сблизжалъ насъ съ нимъ. Впрочемъ, окруженіе Горькаго, постоянная толпа ничтожныхъ и корыстныхъ льстецовъ, которыхъ онъ около себя терпѣлъ, отталкивала отъ него очень многихъ.

Эти льстецы обыкновенно даже не партійные люди; это просто литературные паразиты. Подобный „дворъ“ — не рѣдкость у русскаго писателя-самородка, имѣющаго громкій успѣхъ, если онъ при томъ слабохарактеренъ, некультуренъ и наивно-тщеславенъ.

Паразитовъ Горьковскихъ I. I. весьма не любилъ,

но по добротѣ своей Горькому ихъ прощаль; а съ партійными людьми горьковскаго круга вель давнее знакомство.

И въ дни февральской революціи, когда вокругъ Думы, — вокругъ Таврическаго Дворца, — кипѣли и подымались человѣческія волны, когда въ нашу квартиру втекали, попутно, люди, болѣе близкіе намъ, — у І. І. собирались другіе, иного толка. Казалось, — въ первые дни, — что смѣшались всѣ толки, что нѣтъ раздѣленія; но оно уже было. И чѣмъ дальше, тѣмъ дѣлалось рѣзче. Во время іюльскаго возстанія, опредѣленно с.-д.-большевицкаго, — у І. І. въ квартирѣ скрывались социаль-демократы, еще не вполне примкнувшіе къ большевизму, но уже чувствующіе, что у нихъ рыльце въ пушку. Извѣстный когда-то лишь своему муравейнику литературно-партійный хлыщъ — Луначарскій, ставшій съ тѣхъ поръ литературнымъ хлыщемъ „всея Совдепн“, — во время іюльскаго бунта жалобно прятался у дѣвняго своего знакомаго чуть не подъ кроватью. И такъ „дрянно“ трусилъ, такъ дрожалъ за свою особу, гадая, куда-бы ему удрать, что внушилъ отвращеніе даже снисходительнымъ его укрывателямъ.

Вскорѣ послѣ этого возстанія, когда линія с.-д.—большевиковъ ярко опредѣлилась, когда всѣ честные люди изъ не потерявшихъ разумъ ее совершенно поняли, мы встрѣтились съ І. І. и его женой. Встрѣтились и сразу сошлись крѣпко и близко.

Надвигалась буря. Ледъ гудѣлъ и трещалъ. Дѣйствительно, скоро онъ сломался на куски, разъединяя прежде близкихъ, и люди понеслись — куда? — на отдѣльныхъ льдинахъ. Мы очутились на одной и той-же льдинѣ съ І. І. — Когда по мѣсяцамъ нельзя было физически встрѣтиться, даже перекликнуться, съ давними, милыми друзьями, ибо нельзя было преодолѣть черныхъ пространствъ страшнаго города, — какимъ счастьемъ и помощью былъ слукъ въ дверь и шаги человѣка, тоже самое понимающаго, такъ-же чув-

ствующаго, о томъ-же ревнующаго, тѣмъ-же страдающаго, чѣмъ страдали мы!

Дѣятельная, творческая природа I. I. не позволяла ему глядѣть на совершающееся, сложа руки. Онъ вѣчно бѣгалъ, вѣчно за кого-то хлопоталъ, кому-то помогалъ, кого-то спасалъ. Онъ дѣлалъ дѣла и крупныя, и мелкія, ни отъ чего не отказывался, лишь бы комунибудь, чемунибудь помочь. При всей своей непримиримости и кипучей ненависти къ большевикамъ, при очень ясномъ взглядѣ на нихъ — онъ не впалъ въ уныніе; онъ до конца, — до дня нашей разлуки, — такимъ и остался: жарко вѣрующимъ въ Россію, вѣрующимъ въ ея непремѣнное и скорое освобожденіе. Зная все, что мы переносили, какія темныя глубины мы проходили, — я знаю, какая нужна сила духа и сила жизни, чтобы не потерять вѣру, чтобы устоять на ногахъ, — остаться *человѣкомъ*. Съ нѣжной благодарностью обращается мысль моя къ I. I. Онъ помогъ намъ — онъ и его жена, — болѣе, чѣмъ сами они объ этомъ думаютъ.

Не могу не прибавить, что сильнѣе чувства благодарности по отношенію къ этимъ людямъ, а также къ другимъ, тамъ оставшимся, тамъ нечеловѣчески страдающимъ и погибающимъ, къ милліонамъ людей съ душой живой — сильнѣе всѣхъ чувствъ во мнѣ говоритъ пламенное чувство долга. Я никогда не знала ранѣе, что оно можетъ быть *пламеннымъ*. Мы — здѣсь; наши тѣла уже не въ глубокой, темной ямѣ, называемой Петербургомъ; — но не ради нашего избавленія избавлены мы, нѣтъ у насъ чувства избавленія — и не можетъ его быть, пока звучатъ въ ушахъ эти голоса оттуда, — *de profundis*. Каждая минута, когда мы не стремимся приблизить хоть на линію, на полмиллиметра освобожденіе сидящихъ въ ямѣ, — нашъ собственный провалъ, если есть эта минута, — не оправдано избавленіе наше, и да погибнемъ мы здѣсь, какъ погибли-бы тамъ. Все равно, сколько у cadaго силъ. Сколько бы ни было — онъ

обязанъ положить ихъ на дѣло погибающихъ — всѣ.

И это я говорю не только себѣ, не только намъ: говорю всякому русскому въ Европѣ, даже всякому вообще *человѣку*, если только онъ знаетъ или можетъ какъ нибудь понять, что сейчасъ дѣлается въ Россіи.

Я вѣрю, что людямъ, достойнымъ называться людьми, доступно и даже свойственно именно *пламенное* чувство долга...

Возвращаюсь, послѣ этого невольнаго отступленія, къ фактамъ.

I. I. съ самаго начала пошелъ — „спасать квартиры отъ разграбленія, жильцовъ отъ униженія“. Сначала онъ былъ предсѣдателемъ одного изъ домовыхъ комитетовъ, но затѣмъ его не утвердили — предсѣдателемъ сталъ старшій дворникъ. Хитрый мужикъ, смекавшій, что не вѣкъ эта „ерунда“ будетъ длиться, и что ссориться ему съ „господами“ не расчетъ, — охотно уступалъ I. I. Къ тому же дворникъ болѣе думалъ, какъ бы „спекулировать“ безъ риска, и былъ малограмотенъ. Остальная „бѣднота“, состоявшая уже окончательно изъ спекулирующихъ, воровъ (одинъ шофферъ хапнулъ на 8 милліоновъ, попался и чуть не былъ разстрѣлянъ), тайныхъ полицейскихъ („чрезвычайныхъ“), дезертировъ и т. д., благодаря тому же малограмотству и отсутствію интереса ко всему, кромѣ наживы — эта „бѣднота“ тоже не особенно возставала противъ энергичнаго I. I.

Надо все таки видѣть, что за колоссальная чепуха — домовый комитетъ. Противная, утомляющая работа, обходы неисполнимыхъ декретовъ, извороты, чтобы отдалить ограбленія, разговоры съ тувыми посланцами изъ полиціи... А вѣчные обыски! Какъ сейчасъ вижу длинную худую фигуру I. I. безъ воротника, въ старенькомъ пальто, въ 4 часа ночи среди подозрительныхъ, подслѣповатыхъ людей съ винтовками и кучи бабъ — новыхъ сыщиковъ и сыщицъ. Это I. I. въ качествѣ уполномоченнаго отъ „Комитета“

сопровождаетъ обыски уже въ двадцатую квартиру.

Какъ извѣстно, все населеніе Петербурга взято „на учетъ“. Всякій, такъ или иначе, обязанъ служить „государству“, — занимать мѣсто если не въ арміи, то въ какомъ нибудь правительственномъ учрежденіи. Да вѣдь человѣкъ иначе и заработка никакого не можетъ имѣть. И почти вся оставшаяся интеллигенція очутилась въ большевицкихъ чиновникахъ. Платятъ за это ровно столько, чтобы умирать съ голоду медленно, а не быстро. Къ веснѣ 19 года почти всѣ наши знакомые измѣнились до неузнаваемости, точно другой человѣкъ сталъ. Опухшимъ — ихъ было очень много — рекомендовалось ѣсть картофель съ кожурой, — но къ веснѣ картофель вообще исчезъ, исчезло даже наше лакомство — лепешки изъ картофельныхъ шкурочъ. Тогда царила вобла, — и кажется я до смертнаго часа не забуду ея пронзительный, тошный запахъ, подымавшій голову изъ каждой тарелки супа, изъ каждой котомки прохожаго.

Новые чиновники, загнанные на службу голодомъ и плеткой, — русскіе интеллигентные люди, — не измѣнились, конечно, не стали большевиками. Водораздѣлъ между „склонившимися“ и „сдавшимися“, между служащими „за страхъ“ и другими „за совѣсть“ — всегда былъ очень ясенъ. Сдавшіеся, передавшіеся насчитываются единицами; они усердствуютъ, якшатся съ комиссарами, говорятъ высокія слова о „народномъ гнѣвѣ“, но менѣе ловкіе все таки голодаютъ (я все говорю о „чиновникахъ“, а не объ откровенныхъ спекулянтахъ). Есть еще „приспособившіеся“; это просто люди обывательскаго типа; они тянутъ ляжку, думая только о ѣдѣ; не прочь извернуться, гдѣ могутъ, не прочь и ругнуть, за угломъ, „совѣтскую“ власть. Но къ чести русской интеллигенціи надо сказать, что громадная ея часть, подавляющее большинство, состоитъ именно изъ „склонившихся“, изъ тѣхъ, что съ великимъ страданіемъ, со стиснутыми зубами несутъ чугунный крестъ жизни. Эти виноваты лишь

въ томъ, что они не герои, т. е. даже герои, но не активные. Они нейдутъ активно на немедленную смерть, свою и близкихъ; но нести чугунный крестъ — тоже своего рода геройство, хотя и пассивное.

Къ нимъ надо причислить и почти *всѣхъ* офицеровъ красной арміи, — бывшихъ офицеровъ арміи русской. Вѣдь когда офицеровъ мобилизуютъ (такія мобилизаціи объявлялись чуть не каждый мѣсяць) — ихъ сразу арестовываютъ; и не только самого офицера, но его жену, его дѣтей, его мать, отца, сестеръ, братьевъ, даже двоюродныхъ дядей и тетокъ. Выдерживаютъ офицера въ тюрьмѣ нѣкоторое время непременно *вмѣстѣ* съ родственниками, чтобы понятно было, въ чемъ дѣло, и если увидятъ, что офицеръ изъ „пассивныхъ“ героевъ — выпускаютъ *всѣхъ*: офицера — въ армію, родныхъ подъ неусыпный надзоръ. Горе, если прилетитъ отъ армейскаго комиссара доносъ на этого „военспеца“ (какъ они называются.) Бдуть дяди и тетки, — не говоря о женѣ съ дѣтьми, — куда-то на принудительныя работы, а то и запираются въ прежній казематъ.

Среди офицеровъ, впрочемъ, не мало оказалось героевъ и активныхъ. Эгихъ разстрѣливали почти буквально на глазахъ женъ. Въ моихъ листкахъ приведены факты; они происходили на глазахъ близкаго мнѣ челоука, женщины-врача, арестованной... за то, что у нея подозрительная фамилія.

Я веду вотъ къ чему. Я хочу въ грубыхъ чертахъ опредѣлить, какъ раздѣляется сейчасъ *все население Россіи вообще* по отношенію къ „совѣтской“ власти. Послѣдніе годы много дали намъ; много видѣли мы со *всѣхъ* сторонъ, и я думаю, что не очень ошибусь въ моей сводкѣ. Дѣлаю ее по главнымъ линиямъ и совершенно объективно. Она относится ко второй половинѣ 19 года; врядь-ли могло въ ней потомъ что-либо измѣниться кореннымъ образомъ.

1) Собственно народъ, низы, крестьяне, въ деревняхъ и въ красной арміи, главная русская толща въ

подавляющемъ большинствѣ — нейтралы. По природѣ русскій крестьянинъ — ярый частный собственникъ, по воспитанію (вѣка длилось это воспитаніе!) — рабъ. Онъ хитеръ — но послушенъ, внѣшне, всякой силѣ, если почувствуетъ, что это дѣйствительно грубая сила. Онъ будетъ молчать и ждать безъ конца, нароя за уголкомъ устроиться по своему, но лишь за уголкомъ, у себя въ уголкѣ. Онъ еще весьма узко понимаетъ и пространство, и время. Ему довольно безразличенъ „коммунизмъ“, пока не коснулся его самого, пока это вообще какое-то „начальство“. Если при этомъ начальствѣ можно забрать землю, разогнать помѣщиковъ и поспекулировать въ городѣ — тѣмъ лучше. Но едва коммунистическія лапы тянутся къ деревнѣ, — мужикъ ершится. Упрямство у него такое же безконечное, какъ и терпѣніе. Землю, захваченное добро онъ считаетъ *своими*, никакія рѣчи никакихъ „товарищей“ не разубѣдятъ его. Онъ не хочетъ работать „на чужихъ ребятахъ“, и когда большевики стали псылать отряды, чтобы реквизиловать „излишки“ — эти излишки исчезли, а гдѣ не были припрятаны — тамъ мужики встрѣтили реквизиторовъ съ винтовками и даже съ пулеметами. Вскорѣ мужикъ сообразилъ, что спокойнѣе вырабатывать хлѣба лишь столько, сколько надо для себя, его ужъ и защищать. И половина полей просто начала пустовать. Нахвтаннныя керенки все зарываются да зарываются въ кубышки; и вотъ, мужикъ начинаетъ хмуриться: да скоро ли время, чтобы свободно попользоваться накопленнымъ богатствомъ? Онъ ни минуты не сомнѣвается, что „они“ (большевики) кончатся; но когда? Пора бы... И „коммунистъ“ — уже ругательное слово въ деревнѣ.

Воевать мужикъ такъ-же не хочетъ, какъ не хотѣлъ при царѣ; и такъ-же покоряется принудительному набору, какъ покорялся при царѣ. Кромѣ того, въ деревнѣ, особенно зимой, и дѣлать нечего, и хлѣбъ на счету; въ красной же арміи — общають паекъ,

одѣвку, обувку; да и веселѣе тамъ молодому парню, уже привыкшему лодырничать. На фронтъ — не всѣхъ-же на фронтъ. Посланные на фронтъ покоряются, пока надъ ними зоркія очи комиссаровъ; но бѣгутъ кучами при малѣйшей возможности. Паникѣ поддаются съ легкостью удивляющей, и тогда бѣгутъ слѣпо, не взирая ни на что. Веснами, едва пригрѣетъ солнышко, и можно въ деревню, — бѣгутъ неудержимо и безъ паники: просто текутъ назадъ, прячась по лѣсамъ, органически превращаясь въ „зеленыхъ“.

Большевики отлично все это знаютъ. Прекрасно понимаютъ своихъ подданныхъ, свою армію, — учитываютъ все. Но они такъ же прекрасно учитываютъ, что ихъ враги, — европейцы ли, собственные ли бѣлые генералы, — ничего не понимаютъ и ничего не знаютъ. На этой слѣпотѣ, я полагаю, они и строятъ всѣ свои главные надежды.

2) Рабочіе? Пролетаріатъ? Но собственно пролетаріата въ Россіи почти не было и раньше, говорить же о немъ сейчасъ, когда девять десятыхъ фабрикъ закрылись, — просто смѣшно. Россійскіе рабочіе — тѣ же крестьяне, и съ закрытіемъ заводовъ они расплылись — въ деревню, въ красную армію. За оставшимися въ городахъ, на работающихъ фабрикахъ, большевики слѣдятъ особенно зорко, обращаются съ ними и осторожно — и безпошадно. Периодически повторяются вспышки террора именно рабочаго. И это понятно, ибо громадное большинство оставшихся рабочихъ уже почти не нейтрально, оно *враждебно* большевикамъ. Большевикамъ не по себѣ отъ этой, глухой пока, враждебности, и они ведутъ себя тугъ очень нервно: то заискиваютъ, то неистествуютъ. На официальныхъ митингахъ все бродятъ какія-то искры, и порою, достаточно одному взглянуть исподлобья, проворчатъ: „надоѣло ужъ все это . . .“, чтобы заволновалось собраніе, чтобы занадрывались одни ораторы, чтобы побѣжали другіе чернымъ ходомъ къ своимъ автомобилямъ. Слишкомъ понятна эта неудержимо

растущая враждебность къ большевикамъ въ средней массѣ рабочихъ: беспросвѣтный голодъ, несмотря на увеличеніе ставокъ („чего на эти ленинки купишь? Тыща тоже называется! Куча . . .“ слѣдуетъ непечатное слово), беззаконіе, расхищеніе, царящія на фабрикахъ, разрушеніе производительнаго дѣла въ корнѣ и, наконецъ, неслыханное количество безработныхъ — все это слишкомъ достаточныя причины рабочаго озлобленія. Пассивнаго, какъ у большинства русскихъ людей, и особенно безсильнаго, потому что „власти“ особенно заботятся о разъединеніи рабочихъ. Запрещены всякія организации, всякія сходки, сборища, митинги, кромѣ официально назначаемыхъ. Сколько юркихъ сыщиковъ шныряетъ по фабрикамъ. Русскіе рабочіе очутились въ такихъ ежовыхъ рукавицахъ, какія имъ не снились при царѣ. Вывѣска, — увѣренія, что ихъ-же рукавицы, — „рабочее“-же правительство — на нихъ болѣе не дѣйствуютъ и никого не обманываютъ.

3) Городское обывательское населеніе, полу-интеллигенты, интеллигенты, — чиновники, а также верхи и полу-верхи красной арміи, ея командный составъ — объ этомъ слоѣ уже было упомянуто. Взятый en gros онъ въ подавляющемъ большинствѣ *непримиримъ* по отношенію къ „совѣтской власти“. Нейтраловъ сравнительно немного, да и нейтралами они могутъ быть названы лишь въ той мѣрѣ, въ какой было названо нейтральнымъ крестьянство. Подъ тончайшей пленкой тупого равнодушія или мгновенной беззаботности — и у нихъ, у нейтраловъ, лежитъ самая опредѣленная враждебность къ данной власти, — трусливая ненависть или презрѣніе. Съ какимъ злорадствомъ накидывается обывательщина, верхняя и нижняя, на всякую неудачу большевиковъ, съ какой жадностью ловить слухи о ихъ близкомъ паденіи. Не разъ и не два мнѣ собственными ушами приходилось слышать, какъ ждуть освободителей: „хоть самъ чортъ, хоть дьяволъ, — только-бы пришли! И чего они тамъ, со-

юзники эти самые! Часокъ только и пострѣлять съ моря, и готово дѣло! Ужъ мы бы тугъ здѣшной нашей сволочи удрать не дали, — нѣтъ! Ужъ мы бы съ ней тогда сами расправились!“ Но этого „часочка стрѣльбы“ настоящей не было, и разочарованные жители Петербурга послѣ взрыва надежды молчаливо злобными взглядами провожаютъ всякій автомобиль. (Автомобиль — это, значить, ѣдутъ большевики. Автомобилей другихъ нѣтъ).

Вотъ моя сводка. И не моя вовсе: — ее, такую, дѣлаютъ всѣ въ Россіи, всѣ знаютъ, что въ грубыхъ и общихъ чертахъ отношеніе русскаго населенія къ большевицкой власти именно таково. Я ничего не сказала о чистыхъ спекулянтахъ. Но это не слои и не классъ. Спекулянты, сколько бы ихъ ни было, все таки отдѣльныя личности и принадлежать ко всѣмъ слоямъ и классамъ. Они, конечно, рады, что подвернулись такія роскошныя условія — власть большевиковъ, — для легкой наживы. Но, въ цѣломъ, и на армію спекулянтовъ большевики не могутъ рассчитывать, какъ на твердую опору. Происходитъ та же, приблизительно, исторія, какъ съ крестьянами. Кучи спекулянтовъ уже стонутъ: да когда-же? Долго ли? Когда же попользоваться награбленнымъ? А жить все дороже, грабить надо шире, значить и рисковать больше. . . Разсчетливый спекулянтъ съ такимъ же нетерпѣливымъ ожиданіемъ считаетъ дни, какъ иной чиновникъ.

Да, вотъ фактъ, вотъ правда о Россіи въ немногихъ словахъ:

Россіей сейчасъ распоряжается ничтожная кучка людей, къ которой вся остальная часть населенія, въ громадномъ большинствѣ, относится отрицательно и даже враждебно. Получается истинная картина чужеземнаго завоеванія. Латышскіе, башкирскіе и китайскіе полки (самые надежные) дорисовываютъ эту картину. Изъ латышей и монголовъ составлена личная охрана большевиковъ: китайцы разстрѣливаютъ

арестованныхъ, — захваченныхъ. (Чуть не написала „осужденныхъ“, но осужденныхъ нѣтъ, ибо нѣтъ суда надъ захваченными. Ихъ просто *такъ* разстрѣливаютъ). Китайскіе-же полки или башкирскіе идутъ въ тылу посланныхъ въ наступленіе красноармейцевъ, чтобы когда они побѣгутъ (а они побѣгутъ!), встрѣтить ихъ пулеметнымъ огнемъ и заставить повернуть.

Чѣмъ не монгольское иго?

Я знаю вопросъ, который самъ собой возникаетъ послѣ моихъ утвержденій. Вотъ онъ: если все это правда, если это дѣйствительно власть кучки, безпримѣрное насиліе меньшинства надъ такимъ большинствомъ, какъ *почти* все населеніе огромной страны — почему нѣтъ внутренняго переворота? Почему хозяйничанье большевиковъ длится, вотъ уже почти три года? Какъ это возможно?

Это не только возможно — это даже не удивительно для того, кто знаетъ Россію, русскій народъ, его исторію, — и въ то же время знаетъ большевиковъ. Россія — страна всѣхъ возможностей, сказалъ кто-то. И страна всѣхъ невозможностей, прибавлю я. О причинахъ такой, на первый взглядъ, неестественной нелѣпости — длящагося владычества кучки партійныхъ людей, недавно подпольныхъ, надъ огромнымъ народомъ, вопреки его волѣ—объ этомъ я говорю много въ моемъ дневникѣ. Почти весь онъ, пожалуй, объ этомъ. Здѣсь подчеркну только еще разъ; мы знаемъ, что это именно такъ и должно было быть; но мы знаемъ еще,—и это страшно важно!—что малѣйшій *внѣшній толчекъ*, малѣйшій камешекъ, упавшій на черную неподвижность сегодняшней Россіи—произведетъ оглушительный взрывъ. Ибо это чернота не болота, но чернота порохового погреба.

Никакихъ тутъ нѣтъ сомнѣній у большевиковъ. Никакихъ нѣтъ и не было сомнѣній у насъ, всѣхъ остальныхъ русскихъ людей. Отсюда понятно, что переживали мы въ маѣ 19 года, мы — и они, большевики. Они, впрочемъ, трусы, а у страха глаза велики; при

одномъ лишь томъ фактѣ, что наступаетъ лѣто, дѣлается возможнымъ ударъ на Петербургъ, и всѣ въ городѣ ждутъ удара, — большевики засуетились, заволновались. А когда началось наступленіе съ Ямбурга — паника ихъ стала неопишима. Мы были гораздо скептически. Мы совершенно не знали, кто наступаетъ, съ какими силами, а главное — есть-ли тамъ, на Западѣ, какая нибудь согласованность есть-ли *единая воля* у идущихъ, — воля дойти во что-бы то ни стало. Для внѣшняго толчка, самаго легкаго, но вполнѣ достаточнаго, чтобы опрокинуть центральную власть, это единство воли необходимо. Паника большевиковъ, цѣну которой мы знали, не доказывала еще, что общій ударъ на Петербургъ предвѣщенъ. Напряженіе въ городѣ, однако, все возрастало и ширилось.

Нельзя передать словами краску, запахъ, воздухъ въ такіе дни и минуты ожиданія. Уже потому нельзя, что дни эти особенно тихи, молчаливы, никакихъ словъ никто не говоритъ, да и зачѣмъ слова? Надо ждать и слушать; надо угадать, захватить мгновеніе... не переворота, а то послѣднее мгновеніе, когда можно сказать „пора“: когда можно встать дѣйственно, за „тѣхъ“ — противъ „этихъ“.

Цѣлые коллективы, по вызвѣскѣ большевицкіе, въ неусыпномъ напряженіи ждали такой минуты. (Меня поймутъ, мнѣ простятъ, конечно, мою бездоказательность и неопредѣленность: я пишу это въ 20 мѣ году, во время *длящагося* царства большевиковъ.) Красноармейцы, посылаемые на фронтъ, были проще и разговорчивѣе: „мы до перваго кордона. А тамъ сейчасъ — на ту сторону.“ Помню ихъ весело и глупо улыбающіяся лица.

Событія на Красной Горкѣ (почти у самаго Кронштадта) — неизвѣстны въ подробностяхъ; но по всѣмъ вѣроятіямъ, это была ошибка, обманъ момента; слишкомъ измученные ожиданіемъ люди сказали себѣ „пора!“ — а было вовсе не пора. Да настоящаго

момента для внутренняго возстанія тогда и совсѣмъ не было (какъ не было его и послѣ, осенью, во время наступленія Юденича). Не было, видимъ мы теперь, *единой воли* у идущихъ, не было ея еще ни разу... Будетъ ли когда нибудь?

Майская эпопея скатилась, какъ волна, оставивъ послѣ себя полосы опустошенія; насъ только сдавили, задушили новыми распоряженіями и декретами, новыми запрещеніями и ограниченіями. — новые замки повѣсили на двери тюремныя. Да цѣны сразу удвоились, такъ что волей-неволей приходилось думать о послѣдней рубашкѣ. — когда, сегодня или завтра, снимать ее, чтобъ послать на рынокъ.

Но думалось и объ этомъ какъ-то тупо. Не уныніе, а именно тупость начинала все больше овладѣвать всѣми. Собственно наша внѣшняя жизнь измѣнялась такъ медленно и незамѣтно, что на первый взглядъ, вотъ тогда весной 19 года, все было какъ бы то-же: та-же квартира, въ кухнѣ та-же старенькая няня моя, та-же преданная намъ служанка, деревенская дѣвушка, съ отвращеніемъ и покорностью глядящая на „этихъ коммунистовъ“. Правда, пустѣли полки съ книгами, унесли пианино, постепенно срызались занавѣсы съ оконъ и дверей, а въ кухнѣ бѣдная моя едва-живая старушка тщетно суешилась надъ полу-пустыми горшками и бранилась съ таинственными личностями, на ухо общающимися картофель по сто рублей фунтъ. Кухня была у насъ самое оживленное мѣсто въ квартирѣ. Кого-кого тамъ не приходилось миѣ видѣть! Кухонные митинги порою давали намъ очень живую информацію.

Все пустѣющая рабочая комната, балконъ, съ котораго, поверхъ зеленыхъ шапокъ Таврическаго сада, можно видѣть главы страшнаго Смольнаго, блѣднозолотыя въ бѣлую майскую ночь, — о, какое странное томленіе, какая — словно предсмертная — тоска.

Тетрадей моихъ уже давно не было. Давно уже онѣ покоились въ могилѣ. Но вотъ тогда-то, въ на-

чалъ іюня, я и нашла черную книжку, гдѣ стала дѣлать не частыя, краткія отмѣтки.

Я ихъ печатаю здѣсь, какъ онѣ есть, въ рѣдкихъ случаяхъ прибавляя нѣсколько поясняющихъ словъ. Я не называю почти ни одного имени — причины понятны, о нихъ уже сказано выше.

Часть II. Черная книжка.

1919 г. Іюнь.

С.П.Б.

... Не забывай моихъ послѣднихъ дней ...

... О, эти наши дни послѣдніе,
Остатки неподвижныхъ дней.
И только небо въ полночь мѣднѣе,
Да зри голыя длиннѣй ...

Іюнь. . . Все хорошо. Все какъ быть должно. Инвалиды (грязный домъ напротивъ насъ, тоже угловой, съ желѣзными балконами) заводятъ свою музыку разно: то съ самага утра, то попозже. Но заведя—уже не прекращаютъ. Чго нибудь да зудить: или гармоника, или дудка, или грамофонъ. Иногда грамофонъ и гармоника вмѣстѣ. Въ разныхъ этажахъ. Кто не дудить—лежитъ брюхомъ на подоконникѣ, разнастаннѣй, смотреть или плюетъ на тротуаръ.

Послѣ 11 ч. вечера, когда уже запрещено ходить по улицамъ (т. е. послѣ 8, — вѣдь у насъ „революціонное“ время, часы на 3 часа впередъ!) музыка не кончается, но валявшіеся на подоконникахъ сходятъ на подъѣздъ, усаживаются. Вокругъ толпятся такъ называемыя „барышни“, въ бѣлыхъ туфляхъ, — „Катьки мои толстоморденькія,“ о которыхъ А. Блокъ написалъ:

„Съ юнкерьемъ гулять ходила,
Съ солдатьемъ гулять пошла“.

Визги. Хохотки.

Инвалиды (и почему они—инвалиды? всѣ они цѣлы, никто не раненъ, госпиталя тутъ нѣтъ) — „инвалиды“

—здоровые, крѣпкіе мужчины. Праздникъ и будни у нихъ одинаковы. Они ничѣмъ не заняты. Слышно, будто спекулируютъ, но лишь по знакомству. Намъ ни одной картофелины не продали.

А граммофонъ ихъ звенить въ ушахъ, даже ночью, свѣтлой, какъ день, когда уже спятъ инвалиды, замолкъ граммофонъ.

Утрами, по зеленой уличной травѣ, извиваются змѣями пріютскія дѣти, — „пролетарскія“ дѣти, — это ихъ ведутъ въ Таврической садъ. Они—то въ красныхъ, то въ желтыхъ шапченкахъ, похожихъ на дурацкіе колпаки. Мордочки землистаго цвѣта, сами голоногіе. На нашей улицѣ, когда-то очень аристократической, очень много было красивыхъ особняковъ. Они всѣ давно реквизированы, наиболѣе разрушенные—покинуты, отданы „подъ дѣтей“. Пріюты доканчиваютъ эти особняки. Мимо нѣкоторыхъ уже пройти нельзя, — такая грязь и вонь. Стекла выбиты. На подоконникахъ лежатъ дѣти, — совершенно такъ, какъ инвалиды лежатъ, — мальчишки и дѣвочки, большіе и малые, и какъ инвалиды глазѣютъ и плюютъ на улицы. Самые маленькіе играютъ соромъ на разломленныхъ плитахъ тротуара, подъ деревьями, или бѣгають по уличной травѣ, шлепая голыми пятками. Ставятъ дѣтей въ пары и ведутъ въ Таврической лишь по утрамъ. Остальное время дня они свободны. И праздны, опять совершенно такъ же, какъ инвалиды.

Есть, впрочемъ, и много отличій между дѣтьми и инвалидами. Хотя бы это одно: у дѣтей лица желтыя — у инвалидовъ красныя.

Вчера (28-го іюня) дежурила у воротъ. Вѣдь у насъ, со времени весенней большевицкой паники, установлено безсмѣнное дежурство на тротуарѣ, день и ночь. Дежурятъ всѣ, безъ изъятія, жильцы дома по очереди, по три часа каждый. Для чего это нужно сидѣть на пустынной, всегда свѣтлой улицѣ — не знаетъ никто. Но сидятъ. Гдѣ барышня на доскѣ, гдѣ

дитя. гдѣ старикъ. Подъ однѣми воротами разъ видѣла дежурящую, интеллигентнаго обличія, старуху; такую старуху, что ей вынесли на тротуаръ дранное кресло изъ квартиры. Сидитъ покорно, защищаетъ, бѣдная, свой „революціонный“ домъ и „красный Петроградъ“ отъ „бѣлыхъ негодяевъ“ . . . которые даже не наступаютъ.

Вчера, во время моихъ трехъ часовъ „защиты“ — улица являла видъ самый необыкновенный. Шныряли, грохоча и дребезжа, расшатанные, вонючіе большевицкіе автомобили. Маршировали какіе-то ободранцы съ винтовками. Кучками проходили подозрительныя личности. Словомъ—царило непривычное оживленіе. Узнаю тутъ-же, на улицѣ, что рядомъ, въ Таврическомъ Дворцѣ, идетъ назначенный большевиками митингъ и засѣданіе ихъ Совѣта. И что дѣла какъ-то неожиданно-непріятно тамъ обертываются для большевиковъ, даже трамваи вдругъ забастовали. Ну что же, разбастуютъ.

Безъ всякаго волненія, почти безъ любопытства, слѣжу за шныряющими властями. Постоянная исторія, и ничего ни изъ одной не выходитъ.

Женщины съ черновато-синими лицами, съ горшками и посудинами въ ослабѣвшихъ рукахъ (супъ съ воблой несутъ изъ общественной столовой)—останавливались на углахъ, шушушкались, озираясь. Напрасно, голубушки! У надежды глаза такъ-же велики, какъ и у страха.

Рынки опять разогнали и запечатали. Изъ казны дается на день $\frac{1}{8}$ хлѣба. Муку ржаную обѣщали намъ принести тайкомъ -- 200 р. фунтъ.

Катя спросила у меня 300 рублей, — отдать за починку туфель.

Если ночью горитъ электричество—значитъ въ этомъ районѣ обыски. У насъ уже было два. Оцѣпляютъ

домъ и ходять цѣлую ночь, толпясь, по квартирамъ. Въ первый разъ обыскомъ завѣдывалъ какой-то „товарищъ Савинъ“, подслѣповатый, одѣтый, какъ рабочій. Сопровождающій обыскъ другъ (ужасно онъ похожъ, безъ воротничка, на большую, худую, печальную птицу) — шепнулъ „товарищу“, что тутъ, молъ, писатели, какое у нихъ оружіе! Савинъ слегка ковырнулъ мои бумаги и спросилъ: участвую-ли я *теперь* въ періодическихъ изданіяхъ? На мой отрицательный отвѣтъ ничего, однако, не сказалъ. Куча бабъ въ платкахъ (новыя сыщицы коммунистки) интересовались больше содержимымъ моихъ шкаповъ. Шептались. Въ то время мы только-что начинали продажу, и бабы явно были недовольны, что шкапъ не пустъ. Однако, обошлось. Нашъ другъ ходилъ по пятамъ каждой бабы.

На второмъ обыскѣ женщинъ не было. За то дѣти. Мальчикъ лѣтъ 9 на видъ, шустрый и любопытный, усердно рылся въ комодахъ и въ письменномъ столѣ Дм. Серг. Но въ комодахъ съ особеннымъ вкусомъ. Этотъ навѣрно „коммунистъ“. При какомъ еще строѣ, кромѣ коммунистическаго, удалось бы юному государственному дѣятелю полазить по чужимъ ящикамъ! А тутъ — открывай любой. — „Вѣдь, подумайте, вѣдь они дѣтей развращаютъ! Дѣтей! Вѣдь я на этого мальченку безъ стыда и жалости смотрѣть не могъ!“ — вопилъ бѣдный I. I. въ негодованіи на другой день.

Яркое солнце, высокая ограда С. собора. На каменной приступочкѣ сидитъ дама въ траурѣ. Сидитъ безсильно, какъ-то вся опустившись. Вдругъ тихо, мучительно, протянула руку. Не на хлѣбъ попросила — куда! Кто теперь въ состояніи подать „на хлѣбъ“. На воблу.

Холеры еще нѣтъ. Есть дизентерія. И растетъ. Съ тѣхъ поръ, какъ выключили всѣ телефоны — мы по-

чти не сообщаемся. Не знаемъ, кто боленъ, кто живъ, кто умеръ. Трудно знать другъ о другѣ,—а увидаться еще труднѣе.

Извозчика можно достать — отъ 500 р. конецъ.

Мухи. Тишина. Если кто-нибудь не возвращается домой — значить, его арестовали. Такъ арестовали мужа нашей квартирной сосѣдки, древняго-древняго старика. Онъ не былъ, да и не могъ быть причастенъ къ „контръ-революціи“, онъ просто *шелъ по Гороховой*. И домой не пришелъ. Несчастливая старуха недѣлю сходила съ ума, а когда, наконецъ, узнала, гдѣ онъ сидитъ и собралась послать ему ѣду (заключенные кормятся только тѣмъ, что имъ присылаютъ „съ воли“) — то оказалось, что старецъ уже умеръ. Отъ воспаления легкихъ или отъ голода.

Также не вернулся домой другой старикъ, знакомый З. Этотъ зашелъ случайно въ швейцарское посольство, а тамъ засада.

Еще не умеръ, сидитъ до сихъ поръ. Любопытно, что онъ давно на большевицкой-же службѣ, въ какомъ-то учрежденіи, которое его отъ Гороховой требуетъ, онъ нуженъ. . . Но Гороховая не отдаетъ.

Опять неудавшаяся гроза, — какое лѣто странное! Но посвѣжѣло.

А въ общемъ ничего не измѣняется. Пыталась цѣлый день продавать старые башмаки. Не даютъ полторы тысячи, — малы. Отдала задешево. Ёсть-то надо.

Еще одного надо записать въ синодикъ. Передался большевикамъ А. Ѳ. Кони. Извѣстный всему Петербургу сенаторъ Кони, писатель и лекторъ, хромой, 75-лѣтній старецъ. За пролетку и крупу рѣшилъ „служить пролетаріату“. Написалъ объ этомъ „самому“ Луначарскому. Тотъ бросился читать письмо всюду: „товарищи, А. Ѳ. Кони — нашъ! Вотъ его письмо“. Уже объявлены какія-то лекціи Кони — красноармейцамъ.

Самое жалкое — это что онъ, кажется, не очень и нуждался. Дима*) не такъ давно былъ у него. Зачѣмъ же это на старости лѣтъ? Крупы будетъ больше, будутъ за нимъ на лекціи пролетку посылать, — но вѣдь стыдно!

Съ Москвой, жаль, почти нѣтъ сообщенія. А то достать бы книжку Брюсова „Почему я сталъ коммунистомъ“. Онъ теперь, говорятъ, важная шишка у большевиковъ. Общій цензоръ. (Издавна злоупотребляетъ наркотиками).

Валерій Брюсовъ — одинъ изъ нашихъ „большихъ талантовъ“. Поэтъ „конца вѣка“, — ихъ когда то называли „декадентами“. Мы съ нимъ были всю жизнь очень хороши, хотя дружить такъ, какъ я дружила съ Блокомъ и съ А. Бѣлымъ, съ нимъ было трудно. Не больно ли, что какъ разъ эти двое послѣднихъ, лучшіе, кажется, изъ поэтовъ и личные мои долготѣтніе друзья — чуть не первыми перешли къ большевикамъ? Впрочемъ, — какой большевикъ — Блокъ! Онъ и вертится гдѣ-то около, въ лѣвыхъ эсэрахъ. Онъ и А. Бѣлый — это просто „потерянные дѣти“, ниче о не понимающія, а-политичныя отнынѣ и до вѣка. Блокъ и самъ какъ то соглашался, что онъ „потерянное дитя“, не больше.

Но бываютъ времена, когда нельзя быть безотвѣтственнымъ, когда всякій обязанъ быть человѣкомъ. И я „взорвала мосты“ между нами, какъ это ни больно. Пусть у Блока, да и у Бѣлаго, — „душа невинна“: я не прошу имъ никогда.

Брюсовъ другого типа. Онъ не „потерянное дитя“, хотя такъ же безотвѣтственъ. Но о разрывѣ съ Брюсовымъ я не жалѣю. Я жалѣю его самого.

Все таки самый замѣчательный русскій поэтъ и писатель. — Сологубъ, — остался „человѣкомъ“. Не

*) Д. В. Философовъ.

пошелъ къ большевикамъ. И не поидеть. Невесело ему за то живется.

Молодой поэтъ Натанъ В., изъ кружка Горькаго, но очень возстававшій здѣсь противъ большевиковъ, — въ Кіевѣ очутился на посту Луначарскаго. Интеллигенты стали подъ его покровительство.

Шла дама по Таврическому саду. На одной ногѣ туфля, на другой — лапоть.

Деревянные дома приказано снести на дрова. О, разрушать живо, разрушать мастера! Разломаютъ и растаскаютъ.

Таскаютъ и торцы. Сегодня сама видѣла, какъ мальчишка съ невиннымъ видомъ разбиралъ мостовую. Подъ торцомъ доски. Ихъ еще не трогаютъ. Впрочемъ, нѣтъ, выворачиваютъ и доски, ибо кромѣ „плѣшинъ“ — вынутыхъ торцовъ, — кое гдѣ на улицахъ есть и бездонныя черныя ямы.

Н. былъ арестованъ въ Павловскѣ на музыкѣ, во время облавы. Допрашивалъ самъ Петерсъ, нашъ „безпощадный“ (латышь). Не вѣрилъ что Н. студентъ. Оттого, вѣрно, и выпустилъ. На студентовъ особенное гоненіе. Съ весны ихъ начали прибирать къ рукамъ. Яростно мобилизуютъ. Но все таки кое-кто выкручивается. Университетъ вообще разрушенъ, но остатки студентовъ все-таки нежелательный элементъ. Это, хотя и — увы! — пассивная, но все-таки оппозиція. Большевики же не терпятъ вблизи никакой, даже пассивной, даже глухой и нѣмой. И если только могутъ, что только могутъ, уничтожаютъ. Непремѣнно уничтожать студентовъ, — останутся только профессора. Студенты все таки имъ, большевикамъ, кажутся *коллективной* оппозиціей, а профессора разъединены, каждый — отдѣльная оппозиція, и они ихъ преслѣдуютъ отдѣльно.

Сегодня прибавили еще $\frac{1}{8}$ фунта хлѣба на два дня. Какое объяденіе.

Ночи стали темнѣе.

Да, и очень темнѣе. Вѣдь ужъ старый июль вполвинѣ. Сегодня 15 июля.

Косить дизентерія. Направо и налево. Нѣтъ дома, гдѣ нѣтъ больныхъ. Въ нашемъ домѣ уже двое умерло. Холера только въ развитіи.

16 июля. Утромъ изъ окна: ѣдетъ возъ гробовъ. Бѣлые, новые, блестятъ на солнцѣ. Возъ обвязанъ веревками.

Въ гробахъ — покойники, кому удалось похорониться. Это не всякому удается. Запаха я не слышала, хотя окно было отворено. А на Загородномъ—пишетъ „Правда“—сильно пахнутъ, когда ѣдутъ.

Няня моя, чтобы получить парусиновые туфли за 117 р. (ей удалось добыть ордеръ казенный!) стояла въ очереди сегодня, вчера и третьяго дня съ 7 час. утра до 5. Десять часовъ подрядъ.

Ничего не получила.

А І. І. ѣздилъ къ Горькому, опять изъ-за брата (вѣдь у І. І. брата арестовали).

Разсказываетъ: попалъ на обѣдъ, по несчастію. Мнѣ не предложили, да я бы и не согласился ни за что взять его, Горьковскій, кусокъ въ ротъ; но, признаюсь, былъ я голоденъ, и неприятно очень было: и котлеты, и огурцы свѣжіе, кисель черничный. . .

Бѣдный І. І., когда то *буквально спасий Горькаго отъ смерти!* За это ему теперь позволяется смотрѣть, какъ Горькій обѣдаетъ. И только; потому что на просьбу относительно брата Горькій отвѣтилъ: „Вы мнѣ надоѣли! Ну и пусть вашего брата разстрѣляютъ!“

Объ этомъ І. І. разсказывалъ съ волненіемъ, съ дрожью въ голосѣ. Не оттого, что разстрѣляютъ брата (его, вѣроятно, не разстрѣляютъ), не оттого, что Горькій забылъ, что сдѣлалъ для него І. І., — а потому, что І. І. *видитъ* теперь Горькаго, настоящій

обликъ человѣка, котораго онъ любилъ... и любить, можетъ быть, до сихъ поръ.

Меня же Горькій и не ранить (я никогда его не любила) и не удивляетъ (я всегда видѣла его довольно ясно). Это человѣкъ прежде всего не только не культурный, но *неспособный* къ культурѣ внутренно. А кромѣ того — у него совершенно бабья душа. Онъ можетъ быть и добръ — и золь. Онъ все можетъ и ни за что не отвѣчаетъ. Онъ какой то безсознательный. Сейчасъ онъ приноситъ много вреда, играетъ роль крайне отрицательную, — но все это, въ концѣ концовъ, женская пассивность, — „путь Магдалининъ“. Но Магдалина, которая никогда не раскается, ибо никогда не пойметъ своихъ грѣховъ.

Не завидую я его котлетамъ. Ниша затхлая каша и водянистый супъ, на которыхъ мы сидимъ мѣсяцами (равно какъ и I. I.) — право, пища болѣе здоровая!

Старика Г., знакомаго З. (я о немъ писала), не выпустили, но отправили въ Москву, на работы, въ лагерь. Обвиненій никакихъ. На работы нужно ходить за 35 верстъ.

Что-то все дѣлается, дѣлается, мы чуемъ, а что — не знаемъ.

Границы плотно заперты. Въ „Правдѣ“ и въ „Извѣстіяхъ“ — абсолютная чепуха. А это наши двѣ *единственныя* газеты, два полу-листика грязной бумаги, — офиціозы. (Въ „коммунистическомъ государствѣ“ пресса допускается, вѣдь, только *казенная*. Книгоиздательство тоже только одно, государственное, — казенное. Впрочемъ, оно никакихъ книгъ и не издаетъ, издаетъ пока лишь брошюры коммунистическія. Книги соотвѣтственныя еще не написаны, всѣ старыя — „контръ-революціонныя“; можно подождать, кстати и бумаги мало. Ленинки печатать — и то не хватаетъ.)

Что пишется въ офиціозахъ — понять нельзя. Мы и не понимаемъ.

И никто. Думаю, сами большевики мало понимаютъ, мало знаютъ. Живутъ со дня на день. Зеленая армія ширится.

Дизентерія, дизентерія. . И холера тоже. Въ субботу пять лѣтъ войнѣ. *Наша* война кончиться не можетъ, поэтому я уже и мира не понимаю!

Надо продавать все до нитки. Но не умѣю, плохо идетъ продажа.

Дмитрій*) сидитъ до истощенія, цѣлыми днями, корректируя глупые, малограмотные переводы глупыхъ романовъ для „Всемирной Литературы“. Это такое учрежденіе, созданное покровительствомъ Горькаго и одного изъ его паразитовъ — Тихонова, для подкармливанія, будто-бы, интеллигентовъ. Переводы эти не печатаются—да и незачѣмъ ихъ печатать.

Платятъ 300 ленинокъ съ громаднаго листа (ремингтонъ на счетъ переводчика), а за корректуру — 100 ленинокъ.

Дмитрій сидитъ надъ этими корректурами днемъ, а я по ночамъ. Надъ какимъ то французскимъ романомъ, переведеннымъ голодной барышней, 14 ночей просидѣла.

Интересно, на что въ Совдепіи пригодились писатели. Да и то, въ сущности, не пригодились. Это такъ, благотворительность, копѣчка, подавнная Горькимъ Мережковскому.

На копѣчку эту (за 14 ночей я получила около тысячи ленинокъ, полдня жизни) — не раскутишься. Выгоднѣе продать старые штаны.

Ощущеніе *лжи* вокругъ — ощущеніе чисто-физическое. Я этого раньше не знала. Какъ будто съ дыханіемъ въ ротъ вливается какая-то холодная и липкая струя. Я чувствую не только ея липкость, но и особый запахъ, ни съ чѣмъ не сравнимый.

Сегодня опять всю ночь горѣло электричество — обыски. Вѣрно для принудительныхъ работъ.

*) Д. С. Мережковскій.

Яркій день. Годовщина (пять лѣтъ!) войны. Съ тѣхъ поръ почти не живу. О, какъ я ненавидѣла ее всегда, этотъ европейскій позоръ, эту бессмысленную петлю, которую человѣчество накинуло на себя! Я уже не говорю о Россіи. Я не говорю и о побѣжденныхъ. Но съ перваго мгновения я знала, что эта война грозитъ неисчислимыми бѣдствіями *всей* Европѣ, и побѣдителямъ, и побѣжденнымъ. Помню, какъ я упрямо, до тупости, возставала на войну, шла противъ если не всѣхъ. — то многихъ, иногда противъ самыхъ близкихъ людей (не противъ Д. С.*), онъ былъ со мной.) Общественно — мы звука не могли издать не военного, благодаря царской цензурѣ. На мой докладъ въ Религіозно-Философскомъ О-вѣ, самый осторожный, нападали втеченіе двухъ засѣданій. Я до сихъ поръ утверждаю, что здравый смыслъ былъ на моей сторонѣ. А послѣ мнѣ приходилось выслушивать такіе вопросы: „вотъ, вы всегда были противъ войны, значить, вы за большевиковъ?“ За большевиковъ! Какъ будто мы ихъ не знали, какъ будто мы не знали до всякой революціи, что большевики — это перманентная война, безысходная война?

Большевицкая власть въ Россіи — порожденіе, дѣтище войны. И пока она будетъ — будетъ война. Гражданская? Какъ бы не такъ! Просто себѣ война, только двойная еще, и внѣшняя, и внутренняя. И послѣдняя въ самой омерзительной формѣ террора, т. е. убійства вооруженными — безоружныхъ и беззащитныхъ. Но довольно объ этомъ, довольно! Я слышу выстрѣлы. Оставляю перо, иду на открытый балконъ.

Посерединѣ улицы медленно собираются люди. Дѣти, женщины . . . даже знаменитые „инвалиды“, что напротивъ, слѣзли съ подоконниковъ, — и музыку забыли. Глядятъ вверхъ. Совершенно безмолвствуютъ. Какъ замороженные — и взрослые, и дѣти. Въ чистѣйшемъ голубомъ воздухѣ, между домами, — круг-

*) Мережковскій.

лые, точно бѣлые клубочки, плаваютъ дымки. Это „наши“ (большевицкія) части стрѣляютъ въ небо по будто бы налетѣвшимъ „вражескимъ“ аэропланамъ.

На бѣлые ватные комочки „нашихъ“ орудій никто не смотритъ. Глядятъ въ другую сторону и выше, ища „враговъ“. Мальчишка жадно и робко указываетъ куда-то перстомъ, всѣ оборачиваются туда. Но, кажется, ничего не видятъ. По крайней мѣрѣ я, не смотря на бинокль, ничего не вижу.

Кто — „они“? Бѣлая армія? Союзники — англичане или французы? Зачѣмъ это? Прилегаютъ любоваться, какъ мы вымираемъ? Да вѣдь съ этой высоты все равно не видно.

Балконъ меня не удовлетворяетъ. Втихомолку, накинувъ платокъ, бѣгу съ Катей, — горничной, по черному ходу внизъ и подхожу къ жидкой кучкѣ посреди улицы.

Совсѣмъ ничего не вижу въ небѣ (бинокль дома остался), а люди гробово молчатъ. Я жду. Вотъ, слышу, желтая баба шепчетъ сосѣдкѣ:

— И чего они — летаютъ-летаютъ . . . Союзники тоже . . . Хотъ бы бумажку сбросили, когда придутъ, или что . . .

Тихо говорила баба, но ближній „инвалидъ“ слышалъ. Онъ, впрочемъ, невинень.

— Чего бумажку, булку бы сбросили, вотъ это дѣло!

Баба вдругъ разъярилась:

— Булки захотѣлъ, толстомордый! Хотъ бы бомбу шваркнули, и за то бы спасибо! Разорвало бы окаянныхъ, да и намъ ужъ одинъ конецъ, легче-бы!

Сказавъ это, баба крупными шагами, бодрясь, пошла прочь. Но я знаю, — струсила. Хотъ не видать ничего „такого“ около, а все-же . . . Съ улицы легче всего попасть на Гороховую, а тамъ въ спискахъ потеряешься, и каюкъ. Это и бабамъ хорошо извѣстно.

Пальба затихла, кучка стала расходиться. Вернулась и я домой.

Да зачѣмъ эти праздные налеты?

Вчера то-же было, говорятъ, въ Кронштадтѣ. То-же самое.

Зачѣмъ это?

Дни — какъ день одинъ, громадный, только мигающей — ночью. Текучее неподвижное время. Лупорожій А-въ съ нашего двора, праздный ражіи дѣтина изъ шофферовъ (не совсѣмъ праздный, широко спекулируетъ, кажется) — купилъ наше пианино за 7 т. ленинокъ, самоваръ новый за тысячу и за 7 т. мой парижскій мѣхъ — женѣ.

Приходятъ, кромѣ того, всякіе евреи и еврейки, типъ одинъ, обычный, — типъ нашего Гржебина: тотъ же аферизмъ, нажива на чужой пеглѣ. Гржебинъ даже любопытный индивидуумъ. Прирожденный паразитъ и мародеръ интеллигентской среды. Вѣчно онъ околачивался около всякихъ литературныхъ предприятий, издательствъ, — къ нѣкоторымъ даже присасывался, — но въ общемъ удачи не имѣлъ. Иногда промахивался: въ книгоиздательствѣ „Шповникъ“ разъ получилъ гонораръ за художника Сомова, и когда это открылось, — слезно умолялъ не предавать дѣло огласкѣ. До войны бѣдствовалъ, случалось — занималъ по 5 рублей; во время войны уже нѣсколько окрылился, завелъ свой журналишко, самый патріотическій и военный — „Отечество“.

Съ перваго момента революціи онъ, какъ клещъ, впился въ Горькаго. Не отставалъ отъ него ни на шагъ, кто-то видѣлъ его на запяткахъ автомобиля вел. княгини Ксеніи Александровны, когда въ немъ, въ мартовскіе дни, разѣзжалъ Горькій. (Быть можетъ, автомобиль былъ не Ксеніи, другой вел. княгини, за это не ручаюсь).

Горькому смѣтливый Зиновій остался вѣренъ. Все поднимаясь и поднимаясь по паразитарной лѣстницѣ, онъ вышелъ въ чины. Теперь онъ правая рука — главный факторъ Горькаго. Вхожъ къ нему во всякое

время, достаетъ ему по случаю разные „предметы искусства“ — вѣдь Горькій жадно скупаеъ всякія вазы и эмали у презрѣнныхъ „буржуевъ“, умирающихъ съ голоду. (У старика Е., интеллигентнаго либерала, больного, самъ пріѣхалъ смотрѣть остатки китайскаго фарфора. И какъ торговался!) Квартира Горькаго имѣетъ видъ музея — или лавки старьевщика, пожалуй: вѣдь горька участь Горькаго тутъ, мало онъ понимаетъ въ „предметахъ искусства“, несмотря на всю охоту смертную. Часами сидитъ, перетираетъ эмали, любитъся пріобрѣтеннымъ. . . и вѣрно думаетъ, бѣдняжка, что это страшно „культурно!“

Въ послѣднее время сталъ скупать и порнографическіе альбомы. Но и въ нихъ ничего не понимаетъ. Мнѣ говорилъ одинъ антикварь-библіотекаръ, съ невинной досадой: „заплатилъ Горькій за одинъ альбомъ такой 10 тысячъ, а онъ и пяти не стоитъ!“

Кромѣ альбомовъ и эмалей, Зиновій Гржебинъ поставляетъ Горькому и царскія сторублевки. I. I. случайно натолкнулся на Гржебина въ передней Горькаго съ цѣлымъ узломъ такихъ сторублевокъ, завязанныхъ въ платокъ.

Но присосавшись къ Горькому, Зиновій дѣлаетъ попутно и свои главныя дѣла: какіе-то громадныя, темныя обороты съ финляндской бумагой, съ финляндской валютой, и даже съ какими-то „масленками“; Богъ ужъ ихъ знаетъ, что это за „масленки“. Должно быть — вкусныя дѣла, ибо онъ живетъ въ нашемъ домѣ въ громадной квартирѣ бывшаго домовладѣльца, покупаетъ сразу пудъ телятины (50 тысячъ), имѣетъ свою пролетку и лошадь (даже не знаю, сколько, — тысячи 3 въ день?)

Къ писателямъ Гржебинъ теперь относится по меценатски. У него есть какъ бы свое (полу-легальное, подъ крыломъ Горькаго) издательство. Онъ скупаеъ всѣхъ писателей съ именами, — скупаеъ „впрокъ“. — вѣдь теперь нельзя издавать. На случай переворота — вся русская литература въ его рукахъ, по догово-

ворамъ, на многія лѣта, — и какъ выгодно приобрѣтенная! Буквально, буквально за нѣсколько кусковъ хлѣба!

Ни одинъ издатель при мнѣ и со мной такъ безстыдно не торговался, какъ Гржебинъ. А ужъ кажется, перевидали мы издателей на своемъ вѣку.

Стыдно сказать, за сколько онъ покупалъ меня и Мережковского. Стыдно не намъ, конечно. Люди съ петлей на шеѣ уже такихъ вещей не стыдятся.

Однако, что я — столько о Гржебинѣ. Это сегодня день такой, все разные комиссіонеры. Мебельщикъ (еврей тоже) развязно предлагалъ Д. С. чу продать ему „всю его личную библіотеку и рукописи“. У Злобиныхъ онъ уже купилъ гостиную — за 12 рублей (тысячъ). Армянка-бриллианщица поздно вечеромъ принесла мнѣ 6 тысячъ за мою брошку (большой бриллиантъ). Шестьсотъ взяла себѣ. Показывала — въ сумочкѣ у нея великолѣпное бриллиантовое кольцо чье-то — 400 тысячъ. Получить за комиссію 40 т. сразу.

Это все крупные аферисты, гады, которыми кишитъ наша гнилая „соціалистическая“ заводь. Мелочь же порой даже симпатична, — вродѣ чухонки, бывшей кухарки разстрѣляннаго министра Щегловитова. Эти все таки очень рискуютъ, когда ташутъ наши вещи на рынокъ. На рынкахъ вѣчныя облавы, разгоны, стрѣльба, избіенія.

Сегодня избивали на Мальцевскомъ. Убили 12-ти-лѣтнюю дѣвочку. (Сами даже, говорятъ, смутились).

Чѣмъ объяснить эти облавы? Развѣ любовью къ искусству, главнымъ образомъ. Черезъ часъ послѣ избіеній тѣ-же люди на тѣхъ-же мѣстахъ снова торгуютъ тѣмъ-же. Да и какъ иначе? Кто бы остался въ живыхъ, если бъ не торговали они — вопреки избіеніямъ?

Надо понять, что мы не знаемъ даже того, что дѣлается *буквально* въ ста шагахъ отъ насъ (въ

Таврическомъ Дворцѣ, на примѣръ). Тогда будетъ понятно, что мы не можемъ составить себѣ представленія о совершающемся въ нѣсколькихъ верстахъ, не говоря уже о Югѣ или Европѣ!

Вотъ характерная иллюстрація.

На недавней конференціи „матросовъ и красноармейцевъ“ нашъ вѣтербургскій диктаторъ, Зиновьевъ (Радомысльскій), пережилъ весьма неприятную, весьма щекотливую минуту. Казалось бы, собраніе надежное, профильтрованное (другихъ не собираютъ). Въ „Правдѣ“, для освѣдомленія вѣрноподданныхъ, въ отчетѣ объ этой конференціи было напечатано (цитирую дословно) что „г. Зиновьевъ объявилъ о прибытіи великаго писателя Горькаго, великаго противника войны, теперь великаго поборника совѣтской власти“. И Горькій сказалъ рѣчь: „... воюйте, а то придетъ Колчакъ и оторветъ вамъ голову. Евреевъ же мало въ арміи, потому что ихъ вообще мало“. Послѣ этого „быть покрытъ длительными оваціями“.

Мы, конечно, не поняли, почему это ни съ того, ни съ сего у Горькаго выскочили „евреи въ арміи“. Но мы привыкли къ отсутствію всякой логики и всякаго смысла въ официальной нашей прессѣ.

Оказывается, на дѣлѣ было вотъ что. Намъ повезло узнать правду, помимо „Правды“, — отъ очевидцевъ, присутствовавшихъ на собраніи (именъ, конечно, не назову). Надежное собраніе возмутилось. „Коммунисты“ вдругъ точно взбѣсались: полѣзли на Зиновьева съ криками: „долой войну! долой комиссаровъ!“ И даже — не страшно ли? — „долой жи-довъ!“ Кое-гдѣ стали сжиматься кулаки. Зиновьевъ, окруженный, струсилъ. Хотѣлъ удрать заднимъ ходомъ, — и не могъ. Предусмотрительная личная секретарша Зиновьева, — Костина, бросилась отыскивать Горькаго, вспомнивъ, что онъ, прежде всего, „поборникъ евреевъ“. Ыздила на Зиновьевскомъ автомобилѣ по всему городу, даже въ нашъ домъ заглядывала, — а вдругъ Горькій, случаемъ, у І. І.? Гдѣ-то

отыскала, наконецъ, привезла—спасать Зиновьева, спастъ большевиковъ.

Горькій говорить мало, глухо, отрывисто, — будто лаетъ. Горькій, дѣйствительно, по словамъ присутствовавшихъ, пролаялъ что-то о евреяхъ, о томъ, что если евреевъ солдатъ меньше, то, вѣдь, евреевъ въ Россіи вообще численно меньше, чѣмъ русскихъ. Насчетъ Колчака, „отрыва головы“ и совѣта воевать — очевидцы не говорили, можетъ быть, не дослышали.

Краснорѣчіе Горькаго врядъ-ли могло имѣть рѣшающее вліяніе, но „вѣрная и преданная“ часть сборища постаралась использовать выходъ „великаго писателя, поборника“ и т. д., какъ диверсію отвлекающую. Послѣ нея „конференцію“ быстро закончили и закрыли.

Вскорѣ послѣ напечатаннаго отчета І. І. былъ у Горькаго (все изъ за брата). Въ упоръ спросилъ его, правда-ли, что Горькій большевиковъ спасалъ? Правда-ли, что требовалъ продолженія войны? Неужели, какъ выразился І. І., — „Горькій и этимъ теперь *опаскуженъ*“?

На это Горькій пролаялъ мрачно, что ни слова не говорилъ о войнѣ, а только о евреяхъ. Будто-бы въ Москву даже ѣздилъ, чтобы „протестовать“ противъ напечатаннаго о немъ, да вотъ „ничего сдѣлать не можетъ.“

Какой, подумаешь, несчастный обиженный!

Говорить еще, что въ Москвѣ — „воръ на ворѣ, негодяй на негодяѣ“... (а здѣсь? Кого онъ спасалъ?).

Если можно было еще кѣмънибудь возмущаться, то Горькимъ — первымъ. Но возмущенье и ненависть — перегорѣли. Да *люди* и стали выше ненависти. Сожалительное презрѣніе, а иногда брезгливость. Больше ничего.

Оплакавъ Венгрію, большевики заскучали. Троцкій-Бронштейнъ, главнокомандующій арміей „всѣя Россіи“, требуетъ, однако, чтобы къ зимѣ эта армія уничтожила всѣхъ „бѣлыхъ“, которые еще занимаютъ часть Россіи. „Тогда мы поговоримъ съ Европой“.

Работы много — вѣдь ужъ августъ, даже по старому стилю.

Косить дизентерія.

Т. (моя сестра) лежитъ третью недѣлю. Страшная, желтая, худая. Лекарствъ нѣтъ.

Соли нѣтъ.

Почти насильно записываютъ въ партію коммунистовъ. Открыто устрашаютъ: „...а если кто...“ Дураки — боятся.

Петерса убрали въ Кіевъ. Положеніе Кіева острое. Кажется, его тѣснятъ всякія „банды“, отъ нихъ стонутъ сами большевики. Впрочемъ — что мы знаемъ?

Арестованная (по доносу домового комитета, изъ-за созвучій фамилій) и черезъ 3 недѣли выпущенная Ел. (близкій намъ человѣкъ) рассказываетъ, между прочимъ.

Разстрѣливаютъ офицеровъ, сидящихъ съ женами вмѣстѣ, человѣкъ 10 — 11 въ день. Выводятъ на дворъ, комендантъ, съ папироской въ зубахъ, считаетъ, — уводятъ.

При Ел. этотъ комендантъ (коменданты всѣ изъ послѣднихъ низовъ), проходя мимо тутъ-же стоящихъ, помертвѣвшихъ женъ, шутилъ: „вотъ, вы теперь молодая вдовушка! Да не жалѣйте, вашъ мужъ мерзавецъ былъ! Въ красной арміи служить не хотѣлъ.“

Недавно разстрѣляли профессора Б. Никольскаго. Имущество его и великолѣпную бібліотеку конфисковали. Жена его сошла съ ума. Остались — дочь 18 лѣтъ и сынъ 17-ти. На дняхъ сына потребовали во „Всеобучъ“ (всеобщее военное обученіе). Онъ явился. Тамъ ему сразу комиссаръ съ хохоткомъ объявилъ (шутники эти комиссары!) — „А вы знаете, гдѣ тѣло вашего папашки? Мы его звѣркамъ скормили!“

Звѣрей Зоологическаго Сада, еще не подошедшихъ, кормятъ свѣжими трупами разстрѣлянныхъ, благо

Петропавловская крѣпость близко, — это всѣмъ извѣстно. Но родственникамъ, кажется, не объявляли раньше.

Объявленіе такъ подѣйствовало на мальчика, что онъ четвертый день лежитъ въ бреду. (Имя комиссара я знаю).

Вчера докторъ Х. утѣшалъ І. І., что у нихъ теперь хорошо устроилось, несмотря на недостатокъ мяса: сердце и печень человѣческихъ труповъ пропускаютъ черезъ мясорубку и выдѣлываютъ пептоны, питательную среду, бульонъ... для культуры бациллъ, напримѣръ.

Докторъ этотъ крайне изумился, когда І. І. внезапно завопилъ, что не переноситъ такого „глума“ надъ человѣческимъ тѣломъ и убѣжалъ, схвативъ фуражку.

Надо помнить, что сейчасъ въ СРБ гѣ, при абсолютномъ отсутствіи однѣхъ вещей и скудости другихъ, есть нѣчто въ изобиліи: трупы. Оставимъ разстрѣлянныхъ. Но и смертность въ городѣ, по скромной большевицкой статистикѣ (петитомъ) — 6, 5%, при 1, 2% рожденій. Не забудемъ что это *большевицкая*, официальная статистика.

І І заболѣлъ. И сестра его — дизентеріей. „Перспективъ“ — для насъ — никакихъ, кромѣ зимы безъ свѣта и огня. Кіевъ, какъ будто, еще разъ взяли, кто — неизвѣстно. Не то Деникинъ, не то поляки, не то „банды“. Можетъ быть, и всѣ они вмѣстѣ.

Очень все неинтересно. Ни страха, ни надежды. Одна тяжелая свинцовая скука.

Петерсъ, уѣзж я въ Кіевъ (мы знаемъ, что Кіевъ взяли по тому, что Петерсъ ужъ въ Москвѣ: удралъ, значить), рѣшилъ возвратитъ намъ телефоны. Причинъ возвращать ихъ такъ же мало, какъ мало было отнимать. Но и за то спасибо.

Всѣ теперь, всѣ безъ исключенія, — носители слуховъ. Носятъ ихъ соотвѣтственно своей психологіи: оптимисты — оптимистическіе, пессимисты — пессимистическіе. Такъ что каждый день есть *всякіе* слухи, обыкновенно другъ друга уничтожающіе. Фактовъ же нѣтъ почти никакихъ. Газета — нашъ обрывокъ газеты, — если факты имѣеть, то не сообщаетъ, тоже несетъ слухи, лишь опредѣленно подтасованные. Изрѣдка прорвется кусокъ паники, вродѣ „вновь угрожающей Антанты, лѣзущей на насъ съ еще окровавленной отъ Венгріи мордой...“ или вродѣ внезапно появившагося Тамбово-Козловскаго (?) фронта.

Несомнѣнный фактъ, что сегодня ночью (съ 17 на 18 августа) гдѣ-то стрѣляли изъ тяжелыхъ орудій. Но Кронштадтъ ли стрѣлялъ, въ него ли стрѣляли — мы не знаемъ (слухи).

Должно быть, особенно серьезнаго ничего не происходитъ, — не слышно усиленнаго ерзанья большевицкихъ автомобилей. Это у насъ одинъ изъ важныхъ признаковъ: какъ начинается тарыхтѣнье автомобилей, — завозились бо ышевики, забезпокоились. — ну, значитъ, что-то есть новенькое, пахнетъ надеждой. Впрочемъ, мы привыкли, что они изъ за всякаго пустяка впадаютъ въ панику и начинаютъ возиться, дребежжа своими расхлябанными, вонючими автомобилями. Всѣ автомобили расхлябанные, полуразрушенные. У одного, кажется, Зиновьева — хорошій. Любопытно видѣть, какъ „слѣдуетъ“ по стогнамъ града „начальникъ Сѣверной Коммуны“. Человѣкъ онъ жирный, бѣлотѣлый, курчавый. На фотографіяхъ, въ газетѣ, выходитъ необыкновенно похожимъ на пышную, старую тетку Зимой и лѣтомъ онъ безъ шапки. Когда ѣдетъ въ своемъ автомобилѣ — открыгомъ, — то возвышается на колѣняхъ у д ухъ красноармейцевъ. Это его личная охрана. Онъ безъ нея — никуда, онъ трусъ первой руки. Впрочемъ, они всѣ трусы. Троцкій держится за семью замками, а когда идетъ, то охранники его буквально тѣснятъ въ кольцо, давятъ кольцомъ.

Фунтъ чаю стоитъ 1200 р. Мы его давно уже не пьемъ. Сушимъ ломтики морковки, или свеклы, — что есть. И завариваемъ. Ничего. Хорошо бы листьевъ, да какія-то грязныя деревья въ Таврическомъ саду, и Богъ ихъ знаетъ, можетъ неподходящія.

Въ гречневой крупѣ (достаемъ иногда на рынкѣ 300 р. фунтъ), въ кашѣ-размазнѣ — гвозди. Небольшіе, но ихъ очень много. При варкѣ няня вчера вынула 12. Изъ рта мы ихъ продолжаемъ вынимать. Я только сейчасъ, вечеромъ, въ трехъ ложкахъ нашла 2, тоже изъ рта ужъ вынула. Вѣрно, для тяжести прибавляютъ.

Но для чего въ хлѣбъ прибавляютъ толченое стекло, — не могу угадать. Такой хлѣбъ прислали Злобинымъ изъ Москвы, ихъ знакомые, — съ оказіей.

Читаю разсказъ Лѣскова „Юдоль“. Это о голодѣ въ 1840-мъ году, въ средней Россіи. Наше положеніе очень напоминаетъ положеніе крѣпостныхъ въ имѣніи Орловской губерніи. Такъ-же должны были они умирать *на мѣсть*, лишенные правъ, лишенные и права отлучки. Разница: ихъ „Юдоль“ длилась всего 10 мѣсяцевъ. И еще: дворовымъ крѣпостнымъ выдавали помѣщики на день не $\frac{1}{8}$ хлѣба, а цѣлыхъ 3 фунта! Три фунта хлѣба. Даже какъ-то не вѣрится.

Сыпной тифъ, дизентерія — продолжаютъ. Холодные дни, дожди. Сегодня было холодное солнце.

Всѣ эти Деникинскіе Саратовы, Тамбовы и Воронежы, о которыхъ намъ говорятъ то слухи, то, задуманно намекая, большевицкія газеты, — оставляютъ нашу эпидерму безчувственной. Намъ нужны „ощущенія“, а не „представленія“.

Но и помимо этого, — когда я пытаюсь разсуждать, — я тоже не дѣлаю радужныхъ выводовъ. Не вижу я ни успѣха „бѣлыхъ генераловъ“ (если они одни), ни цѣлесообразности движенія *съ юга*. (Вслухъ

насчетъ невѣрія моего въ „бѣлыхъ генераловъ“ не говорю, это слишкомъ ранить всѣхъ.) Большевики твердо и ясно знаютъ, что безъ Петербурга центральная власть (хотя она и въ Москвѣ) не будетъ свалена. Большевики недаромъ всей силой, почти суевѣрно, держатся за Петербургъ. Они такъ и говорятъ, даже въ Москвѣ: „пока есть у насъ нашъ красный Петроградъ, — мы есть и мы непобѣдимы“.

Да, это роковымъ образомъ такъ. Петербургъ — большевицкій талисманъ. И большевицкая голова.

Кромѣ того, „бѣлые генералы“ наши. . . Впрочемъ, — молчаніе, молчаніе. Если и думаютъ многіе, какъ я (опытны, вѣдь, мы всѣ!), то все таки теперь помолчимъ.

Продала старыя портьеры. И новыя. И подкладочный коленкоръ. 2 тысячи. Полтора дня жизни.

Большевики и сами знаютъ, что будутъ свалены такъ или иначе, — но когда? Въ этомъ весь вопросъ. Для Россіи, — и для Европы — это вопросъ громадной важности. Я подчеркиваю, для Европы. Быть можетъ, для Европы вопросъ времени паденія большевиковъ даже *важнѣе*, чѣмъ для Россіи. Какъ это ясно!

Принудительная война, которую ведетъ наша кучка захватчиковъ, еще тѣмъ противнѣе обыкновенной, что представляетъ изъ себя „дурную безконечность“ и развращаетъ данное поколѣніе въ корнѣ, — создаетъ изъ мужика „вѣчнаго“ армейца, празднаго авантюриста. Кто не воюетъ, или *пока* не воюетъ, торгуетъ (и воруетъ, конечно). *Не работаетъ никто*. Воистину „торгово-продажная“ республика. — защищаемая сдурѣлыми солдатами — рабами.

Если большевики падутъ лишь „въ концѣ концовъ“, — то, пожалуй, подъ свалившимся окажется „пустое мѣсто“. Поздравимъ тогда Европу. Впрочемъ, будетъ ли тогда кого поздравлять, — въ „концѣ то концовъ“?

Матросье кронштадское ворчитъ, стонетъ, — надоѣло. „Давно-бы мы сдались, да некому. Никто нейдетъ, никто не беретъ“.

Что бы ни было далѣе — мы не забудемъ этого „союзникамъ“. Англичанамъ, — ибо французы безъ нихъ врядъ-ли что могутъ.

Да что—мы? Имъ не забудеть этого и жизнь сама

Вчера видѣла на улицѣ, какъ маленькая, 4-хлѣтняя дѣвочка колотила рученками упавшую съ разрушеннаго дома старую вывѣску. Вмѣсто дома среди досокъ, балокъ и кирпича — возвышалась только изразцовая печка. А на валявшейся вывѣскѣ были превкусно нарисованы яблоки, варенье, сахаръ и — булки! Цѣлая гора булокъ!

Я наклонилась надъ дѣвочкой.

— За что-же ты бьешь такія славныя вещи?

— Въ руки не дается! Въ руки не дается! съ плачемъ повторяла дѣвочка, продолжая колотить и топтать босыми ножками заколдованное варенье.

Чрезвычайку обновили. Старыхъ разстрѣляли, коекого. Но воры и шантажисты — всѣ.

Отмѣчаю (конецъ августа по нов. стилю), что, несмотря на отсутствіе *фактовъ*, и даже касающихся съвера *слуховъ*, — общее настроеніе въ городѣ — повышенное, атмосфера просвѣтленная. Верхи и низы одинаково, хотя безотчетно, вдругъ стали утверждаться на ощущеніи, что скоро, къ октябрю-ноябрю, все будетъ кончено.

Можетъ-быть, отчасти дѣйствуютъ и слишкомъ настойчивыя большевицкія увѣренія, что „напрасны новыя угрозы“, „тщетны рѣшенія англичанъ кончить съ Петербургомъ теперь-же“, „нелѣпы надежды Юденича на новое соглашеніе съ Эстляндіей“ и т. д.

Агонизирующий Петербургъ, читая эти выкрики, радуется: ага, значить, есть „новыя угрозы“. Есть „рѣшеніе англичанъ“! Есть рѣчь о „соглашеніи Юденича съ Эстляндіей“!

Я прямо чувствую нарастаніе беспочвенныхъ, казалось-бы, надеждъ.

Рядомъ большевики пишутъ о своемъ наступленіи на Псковъ. Возможно, отберутъ его; но и это врядъ-ли измѣнитъ настроеніе дня.

Наша Кассандра, — Д. С., — пребываетъ въ тѣхъ же мрачныхъ тонахъ. Я... не говорю ничего. Но констатировать общее состояніе атмосферы считаю долгомъ.

Живемъ буквально на то, что продаемъ, изо-дня въ день. Все дорожаетъ въ гомерической прогрессіи, ибо рынки громятъ систематически. И, кажется, уже не столько принципиально, сколько утилитарно: нечѣмъ красноармейцевъ кормить. Обывательское продовольствіе жадно забирается.

С. *) съ женой поѣхалъ недавно въ К., на Волгу, гдѣ у него была своя дачка. Скоро вернулся. Заполняющіе домикъ „коммунары“ удѣлили хозяевамъ двѣ коморки наверху. Незавидное было житье.

С. говоритъ, что на Волгѣ — непрерывныя крестьянскія возстанія. Карательные отряды поджигаютъ деревни, разстрѣливаютъ крестьянъ по 600 человекъ заразъ.

Южные „слухи“ упорны относительно Кіева: онъ, будто-бы, взятъ Петлюрой — въ соединеніи съ поляками и Деникинымъ.

(Вотъ что я замѣтила относительно природы „слуха“ вообще. Во всякомъ слухѣ есть смѣшеніе *даннаго* съ *должнымъ*. Бываютъ слухи очень *невѣрные*, — съ громаднымъ преобладаніемъ *должнаго* надъ

*) Замѣчательный и очень извѣстный писатель.

даннымъ; — не вѣрны они, значить, фактически, и тѣмъ не менѣе очень поучительны. Для умѣющаго учиться, конечно. Вотъ и теперь, Кіевъ. Можетъ быть, его *должно было бы* взять соединеніе Петлюры, поляковъ и Деникина. А какъ *даннаго* — такого соединенія и не существуетъ, можетъ быть, если Кіевъ и взять).

Большевики признались, что Кіевъ окружень съ 3-хъ сторонъ. Только сегодня (29-го августа) признались, что „противникъ (какой? кто?) занялъ Одессу“. (Одесса взята около мѣсяца тому назадъ).

Ахъ, да что эти южныя „взятія“. И мы — Россія, и большевики — наши завоеватели, въ этомъ пунктѣ единомысленны: занятіе южныхъ городовъ „бѣлыми“ нисколько не колеблетъ центральную власть и само по себѣ не твердо, не окончательно. Не удивлюсь, если тотъ-же Кіевъ сто разъ еще будетъ взятъ обратно.

Хамье отъѣвшееся, глубоко а-политичное и безпринципное (съ однимъ непоколебимымъ принципомъ — частной собственности) спѣшитъ „до переворота“ реализовать нахваченные пуды грязной бумаги, „ленинокъ“, — скупая все, что можетъ. У насъ. Въ каждомъ случаѣ учитывая, конечно, степень нужды, прижимая наиболѣе голодныхъ. Помѣщаютъ свои ленинки, какъ въ банкъ, въ брилліанты, мѣха, мебель, книги, фарфоръ, — во что угодно. Это очень разсудительно.

Лупорожаго А-ва съ нашего двора, ражаго дѣтину изъ шофферовъ, который для жены купилъ мой парижскій мѣхъ — сцапали. Спекульнулъ со спиртомъ на 2 1/2 милліона. Ловко!

А чѣмъ лучше Гржебинъ? Только, вотъ, не попался, и ему покровительствуетъ Горькій. Но жена Горькаго (вторая, — настоящая его жена гдѣ-то въ Москвѣ), бывшая актриса, теперь комиссарша всѣхъ російскихъ театровъ, уже сколотила себѣ деньжатъ...

это ни для кого не тайна. Очень любопытный типъ эта дама—коммунистка. Каботинка до мозга костей, истеричка, довольно красивая, хотя *sur le retour*, — она занималась прежде чѣмъ угодно, только не политикой. При началѣ власти большевиковъ самъ Горькій держался какъ-то невыясненно, неопредѣленно. Помню, какъ въ ноябрѣ 17 года я сама лично кричала Горькому (въ послѣдній разъ, кажется, видѣла его тогда): „...а ваша-то собственная совѣсть что вамъ говоритъ? Ваша внутренняя человѣческая совѣсть?“, а онъ, на просьбы хлопотать передъ большевиками о сидящихъ въ крѣпости министрахъ, только лаялъ глухо: „я съ этими мерзавцами... и говорить... не могу“.

Пока для Горькаго большевики, при случаѣ, были „мерзавцами“, — выжидала и Марья Федоровна. Но это длилось недолго. И теперь, — о, теперь она „коммунистка“ душой и тѣломъ. Въ роль комиссарши, — министра всѣхъ театрално-художественныхъ дѣлъ, — она вошла блестяше; въ буквальномъ смыслѣ „вошла въ роль“, какъ прежде входила на сценѣ, въ другихъ пьесахъ. Иногда художественная мѣра измѣняетъ ей, и она сбивается на роль уже не министерши, а какъ будто императрицы („ей Богу, настоящая „Марія Ѳеодоровна“, восклицалъ кто-то въ эстетическомъ восхищеніи). У нея два автомобиля, она ежедневно пріѣзжаетъ въ свое министерство, въ захваченный особнякъ на Литейномъ, — „къ пріему“.

Пріема ждуть часами и артисты, и писатели, и художники. Она не торопится. Одинъ разъ, когда художникъ съ большимъ именемъ, Д-скій, послѣ долгаго ожиданія удостоился, наконецъ, впуска въ министерскій кабинетъ, онъ засталъ комиссаршу очень занятой . . . съ сапожникомъ. Она никакъ не могла растолковать этому противному сапожнику, какой ей хочется каблукчекъ. И съ чисто-королевской милой очаровательностью вскрикнула, увидѣвъ Д-скаго: — „Ахъ, вотъ и художникъ! Ну нарисуйте же мнѣ каблукчекъ къ моимъ ботинкамъ!“

Не знаю ужъ, воспользовался-ли Д-скій „случаемъ“ и попалъ, или нѣтъ, „въ милость“. Человѣкъ „придворной складки“, конечно, воспользовался-бы.

Теперь, вотъ въ эти дни, у всѣхъ почему-то на устахъ одно слово: „переворотъ“. У людей „того“ лагеря, не нашего — тоже. И спѣшать что-то успѣть „до переворота“. Спекулянты — реализовать ленинки, причастные къ „властямъ“ — какъ-то „заручиться“ (это ходячій терминъ).

Спѣшитъ и Марья Федоровна А-ва. На дняхъ А-скій, зайдя по дѣлу къ Горькому, засталъ у М. Ф. совѣмъ неожиданный „салонъ“: человѣкъ 15 самой „бѣлогвардейской“ породы, — П., К. и т. д. Говорятъ о переворотѣ, и комиссарша уже играетъ на этой сценѣ совѣмъ другую роль: роль „урожденной Желябужской“. Вотъ и „заручилась“ на случай переворота. Какъ не защитить ее гости — своего поля ягodu, „урожденную Желябужскую?“

Недаромъ, однако, быти слухи, что прямолинейный Петерсъ, нашъ „безпощадный“, въ ражѣ коммунистической „чистки“, мѣтилъ арестовать всю компанію: и комиссаршу, и Горькаго, и Гржебина, и Тихонова... Да широко махнулъ. Въ Кіевъ услали.

Кіевъ, если не взять, то, кажется, будетъ взятъ. Понять, вообще, ничего нельзя. Псковъ большевики тогда-же взяли, — торжествовали довольно! Однако, Зиновьевъ опять объявляетъ — мы, молъ, наканунѣ цинническаго выступленія англичанъ...

Вы такъ боитесь, товарищъ Зиновьевъ? Не слишкомъ ли большіе глаза у вашего страха? У моей надежды они гораздо меньше.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Зинаида Гиппіусъ.